Тетради по консерватизму

ISSN 2409-2517

[№ 3 2018]

Михаил Никифорович Катков

фонд ИСЭПИ
Институт социально-экономических и политических исследований

Катков
Михаил Никифорович

[сентябрь 2018 г.]

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации журнал включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук по отраслям 23.00.00 – Политология, 07.00.00 – Исторические науки и археология, 09.00.00 – Философские науки.

Рекомендовано к печати
Экспертным советом Фонда ИСЭПИ

Редакционный совет
Д.В. Бадовский, А.Д. Воскресенский, А.А. Иванов,
М.А. Маслин, Б.В. Межуев, А.Ю. Минаков, Р.В. Михайлов (гл. редактор),
Е.Н. Мощелков, Л.В. Поляков (председатель), С.В. Перевезенцев, М.В. Ремизов,
А.С. Ципко, А.Л. Чечевишников, А.А. Ширинянц

Тетради по консерватизму: Альманах. – № 3. – М.: Некоммерческий фонд – Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ), 2018. – 434 с.

Очередной номер альманаха «Тетради по консерватизму» посвящен 200-летию со дня рождения яркого консервативного публициста своей эпохи – М.Н. Каткова. В качестве редактора общественно-политической газеты «Московские ведомости», а также общественно-литературного журнала «Русский вестник», Михаил Никифорович не только стал одним из основоположников русской политической журналистики, но и сыграл важную роль в формировании самосознания русского общества, реагируя с государственническо-охранительных позиций на все ключевые вопросы и вызовы своего времени.

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77 – 67506.

© АНО «Средство массовой информации Альманах “Тетради по консерватизму”», 2018
© Некоммерческий фонд — Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ), 2018

Содержание

Леонид Поляков
Слово к читателю
9

Раздел первый

Катков: автономия мысли

М.А. Маслин
К вопросу об «охранительном национализме» М.Н. Каткова
13

В.В. Ванчугов
Искушение умозрением: философские штудии Михаила Каткова
25

И.Н. Тяпин
Преломление учения Г. Гегеля в философско-исторических воззрениях М.Н. Каткова
37

М.Ю. Чернавский
Русская историософия М.Н. Каткова: опыт диалектического консерватизма
48

А.Э. Котов
Был ли Катков православным консерватором?
59

Раздел второй

Катков: свободное слово

О.С. Кругликова
Газета М.Н. Каткова «Московские ведомости» (1863–1887 годы): к вопросу об истоках и характере политического влияния
71

Д.А. Бадалян
Журналист, общественное мнение и власть: издания М.Н. Каткова в «царских обозрениях» 1860–1866 годов
89

Е.В. Перевалова
М.Н. Катков-журналист: борьба за привилегии или служба по совести?
119

Е.В. Перевалова
«Редактор-исполнитель»: Николай Алексеевич Любимов
136

Раздел третий

Катков: философия имперской государственности

Е.С. Холмогоров
Национализм центростремительного движения
Политическая метафизика Михаила Каткова
151

Э.А. Попов, И.В. Велигонова
Гражданское общество и государственная власть: новационные социальные технологии М.Н. Каткова
201

А.Л. Трофимова (Брутян)
Эволюция социально-политических взглядов М.Н. Каткова
213

А.Ю. Полунов
Проблема «власть и общество» в воззрениях русских консерваторов (к вопросу о взглядах М.Н. Каткова и К.П. Победоносцева)
222

И.В. Лукоянов
М.Н. Катков и внешняя политика Российской империи в царствование Александра III (1880-е годы)
232

М.И. Рухмаков, А.В. Богомаз
Сильное государство и сильная личность: философско-правовое учение М.Н. Каткова
245

Раздел четвертый

Катков: национальный вопрос

А.Ю. Минаков
Критика М.Н. Катковым идеологии «украйнофильства»
255

А.Д. Гронский
«Польский вопрос» глазами М.Н. Каткова и современность
261

Г.Н. Лебедева
Остзейский вопрос в публицистике М.Н. Каткова
274

Г.Н. Лебедева
«Исповедь русского народа» и несостоявшийся политический панславизм во второй половине XIX века
287

С.М. Санькова
Национальная внешняя политика в представлении М.Н. Каткова
299

Раздел пятый

Катков: реформы vs революция

А.А. Ширинянц
М.Н. Катков в эпоху крестьянской реформы 1861 года
319

А.И. Любжин
Образовательные пилотные проекты эпохи Александра II
326

игумен Виталий (Уткин)
Михаил Никифорович Катков и борьба вокруг церковного характера начальной народной школы
334

О.А. Хвостова
М.Н. Катков и И.С. Тургенев в спорах о Базарове
348

И.В. Логвинова
М.Н. Катков и И.С. Тургенев
356

К.А. Соловьев
Любимов против течения. Политическая философия контрреволюциии
359

Раздел шестой

Катков: один на один

Л.Е. Шапошников
М.Н. Катков и славянофилы
367

А.А. Тесля
Иван Аксаков vs Михаил Катков: I-я половина 1860-х годов
376

А.О. Мещерякова
Политический союз поэта и журналиста: Ф.И. Тютчев и М.Н. Катков в период польского восстания
385

А.В. Репников
Михаил Катков и Лев Тихомиров: созвучия и диссонансы
393

Раздел седьмой

Прикосновенный запас: из неопубликованного и непрочитанного

О.Л. Фетисенко
«Демагог» об «оппортунисте» (Речь С.Ф. Шарапова на могиле Каткова в контексте «раскола в консерваторах»)
403

Н.В. Котрелев
Из неизданного и несобранного Владимира Соловьева: Письмо М.Н. Каткову, 20 июля 1886 года; письмо М.М. Стасюлевичу, до 2/14 сентября 1886 года
411

А.А. Чемакин
Малоизвестная статья П.Б. Струве об истории русской журналистики
421

Раздел восьмой

Самодержавие и Россия: было и прошло?

Заседание Консервативного клуба, состоявшееся в Фонде ИСЭПИ 17 июля 2018 года, в день 100-летия мученической кончины царской семьи
429

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-3-151-200

Егор Холмогоров

Национализм центростремительного движения

Политическая метафизика Михаила Каткова

Когда летом 1880 года Константин Леонтьев предлагал «заживо политически канонизировать Каткова», поставив ему при жизни памятник на Страстном бульваре [43], это звучало, безусловно, вызывающе, но отнюдь не абсурдно. И друзьям, и врагам Михаила Никифоровича было очевидно особое место, уже занятое им в русской истории.

К середине 1860-х редактор «Московских ведомостей» стал символом русской нации, воплощением патриотического подъема, связанного с противостоянием польскому мятежу. Открытое возобновление в 1863 году «спора славян» в обстановке, продиктованной поражением России в Крымской войне, могло иметь, казалось, лишь только один исход – восстановление Польши, причем с большей вероятностью не в границах «конгрессовки» 1814 года, а в старых границах, захватывавших значительную часть Западной Руси. Казалось, никакой альтернативы такому исходу и падению русского великодержавия попросту нет.

По сути, Россия оказалась в условиях новой Отечественной войны, но уже такой, где битва армий была заранее проиграна, однако требовалась битва духа, битва политической идеи и политической воли. Главный враг был не столько извне, сколько внутри, в лице столичного общественного мнения, считавшего возможным «из любви к европейскому прогрессу» капитулировать перед польскими притязаниями. Но в древней Москве раздался голос нового Минина, который формулировал и провозглашал четкие политические смыслы, определенные идейные директивы, требовавшие от русских бороться за свое государство и не капитулировать перед той формой саморазрушения, которую спустя полтора десятилетия Достоевский в опубликованном в катковском журнале романе заклеймит в образе смердяковщины.

Катков «силен был самосознанием Минина, которое в половине XIX века и вооруженное всеми средствами новейшего образования явилось ни в чем неизмененным против своего древнего выражения», – настаивал Василий Розанов [52, с. 605]. А по призыву Минина явился и новый князь Пожарский – граф М.Н. Муравьев Виленский и к голосу правды прибавил право карающего меча. Пережитое в 1863 году русским обществом благодаря слову Каткова и делу Муравьева и в самом деле многими осознавалось как «новый 1612 год».

Однако если Минин вскоре сошел с исторической сцены, то Катков занял на русском политическом небосклоне 1860–1880-х годов совершенно особое место, которое порой считали деспотизмом мысли. «Государственный деятель без государственной должности» решительно навязывал государству курс, противоречивший чаяниям сынов прогресса, а потому и значительно менее популярный. Если борьба Каткова за национальную политику

Холмогоров Егор Станиславович, публицист. E-mail: holmogorow@yandex.ru

и против унижения русского имени перед инородцами пользовалась широкой популярностью, то того же нельзя было сказать ни о борьбе за классический стандарт гимназического образования, ни о выступлениях против конституционных и соборных поползновений, ни о деятельности по осуществлению контрреформ. «Виленский консенсус», как выразился А.Э. Котов [88], к началу 1870-х распался, и ореол национального героя вокруг Михаила Никифоровича потускнел.

И тем не менее Катков оставался чем-то большим, чем ненавистным «публике» правительствующим журналистом. «Говорить о нем и его врагах почти то же, что говорить о нашем государстве и его недоброжелателях, его изменниках… Враждовать так злобно против того, что защищают “Московские Ведомости” столько лет, значит враждовать против силы и целостности Русского Государства…» – настаивал в 1880 году Константин Леонтьев [43, с. 282–283]. Катков был символом политической идеи, символом направления.

Сущность этого направления была в том, чтобы противустать известному европейскому методу решения «русского вопроса», заключавшемуся в последовательном проведении принципа «Россия не для русских»:

> «Все политическое искусство европейских правительств по отношению к России состояло в том, чтобы вовлекать ее правительство в такие положения и сочетания, которые наименее соответствовали бы ее собственным интересам и в которых она служила бы посторонним для нее целям, сколь можно более в ущерб себе… Там, где хоть сколько-нибудь выступал наружу русский интерес в европейских делах, можно было с уверенностью ожидать, что все правительства станут против нас за одно. Не могла быть допущена никакая комбинация, выгодная для России, не мог быть поднят никакой вопрос, который хотя бы отдаленным образом обещал разрешиться в русском смысле. Русская политика в Европе могла что-нибудь значить только в той мере, в какой она отреклась от своего национального характера…» [14, с. 158–159].

Le grand Katkoff сумел стать фактором не только русской, но и европейской политики. «Я, служа в Турции, – свидетельствовал тот же Леонтьев, – видел сам, в какое бешенство приводили нередко, например, хоть бы английских консулов его статьи, переданные в иностранных газетах» [44, с. 454]. По выражению самого Михаила Никифоровича, в его газете «не просто отражались дела, в ней многие дела делались».

Кончина публициста в 1887 году, казалось, должна была положить конец этому катковскому царству. Тем более что случилась она посреди чреды размолвок с императором, касающихся направления внешней политики России, которую «Московские ведомости», не считаясь со средствами, стремились повернуть в профранцузском и антигерманском направлении.

Однако не прошло и четырех лет, как Российская Империя приняла отстаивавшийся Катковым антигерманский покровительственный тариф, а в царских покоях и вовсе зазвучала мелодия «Марсельезы». На недоумения канцлеров монархических центральных держав: как возможно сближение самодержавной монархии и революционной республики, – русские дипломаты отвечали по сути катковскими фразами[1]. «Тот только и может быть нам

[1] Характерно в этом смысле объяснение русского советника Г.Л. Кантакузена с министром иностранных дел Австро-Венгрии графом Кальноки (кстати, одним из главных «антигероев» катковской публицистики последних лет): «Конечно никто из тех, кто слушал звуки “Марсельезы” в присутствии нашего монарха и его французских гостей, не старался найти в этой музыке что-либо иное, кроме как звуки национального гимна великой державы, делающей все возможное для выражения почтения его императорскому величеству и своих симпатий к России». Это место письма князя Кантакузена удостоилось высочайшей пометы: // “Совершенно верно” //» [42, с. 162].

истинным союзником, кого ход событий сблизит с живыми и существенными интересами нашего отечества, будет ли то президент Соединенных Штатов или богдыхан китайский… мы должны знать только интересы нашего отечества и руководствоваться в наших делах, в наших сближениях и разрывах только нашим долгом перед судьбами России», – писал Катков в 1887 году [30, с. 631–632][1].

Настоящим триумфом катковской идеологии стала столыпинская эпоха – сочетание охранительства и прогрессизма, которое наверняка привело бы Михаила Никифоровича в восторг, поднятие на щит принципа национальной политики и четкое проведение его в Западном крае, наступление на крестьянскую общину, развитие железнодорожной инфраструктуры. Трудно не согласиться с А.А. Теслей, полагающим, что явление Столыпина стало зримым воплощением катковского восклицания более чем двадцатилетней давности, на сей раз куда более уместного: «Господа, встаньте: правительство идет, правительство возвращается!» [82, с. 224]. Даже риторический строй речей Столыпина, пожалуй – величайшего политического оратора в русской истории, перекликается именно с публицистикой редактора «Московских ведомостей».

Казалось, последовавший вскоре революционный провал России должен покончить с памятью о Каткове навсегда. Могила его в Свято-Алексеевском девичьем монастыре была уничтожена, а кости, если верить преданиям старых прихожан, подвергнуты коммунистическими активистами нарочитому глумлению[2].

«Октябрьская революция» наглядно опровергла риторику публициста о том, что «Россия есть страна самая антиреволюционная в целом мире» [13, с. 58]. А ее вождь Владимир Ульянов был воплощенной насмешкой над катковской образовательной реформой.

«Дело не в том только, чтобы понимать дух древних авторов, а в том, чтобы с ранних лет привыкнуть к упорному и последовательному умственному труду. И я не отвергаю, что в России много умных людей; только *и из них очень немногие умеют продержать пять минут в голове одну и ту же мысль»*, – обосновывал Михаил Никифорович свой классицизм [45, с. 494].

Никто не мог бы упрекнуть золотого медалиста симбирской гимназии, у которого всегда было «Из греческого – пять! Из латыни – пять!», в неумении держать в голове одну и ту же мысль и в неспособности концентрироваться на главном. Однако предметом этой концентрации стали не Фукидид и Цицерон, не русская национальная история и культура (приобщения к которым, как горестно сокрушался Розанов, катковская гимназия и не предполагала[3]), а идеи Герцена, Чернышевского и Маркса. В ленинском плане монументальной пропаганды числились, конечно, братья Гракхи и Брут, но это скорее наследие Французс-

[1] При обсуждении «профранцузской» ориентации Каткова зачастую забывают, что он ориентировался не на французских радикалов-республиканцев, а, напротив, на самые правые, самые «антиреспубликанские» слои Франции, буланжистов и будущих антидрейфусаров, как знаменитый поэт-националист Поль Дерулед. Если бы удержалась катковская тенденция влиять на французскую политику, вместо того чтобы приспосабливаться к ней, как знать – не была ли бы союзницей России значительно более «правая» Франция, нежели та, в которой главным «тигром» был враг Деруледа Клемансо.

[2] Сей печальный факт устно сообщен автору протоиереем Артемием Владимировым, духовником Свято-Алексеевской женской обители.

[3] «И очень многие гимназисты до IV-го класса не доходят: все они знают, что у человека «32 позвонка», и не знают, как Сусанин спас царскую семью. Потом Симбирская гимназия (II и III классы) – и я не знал ничего о Симбирске. Потом Нижегородская гимназия. Там мне ставили двойки по латыни, и я увлекался Боклем! Даже странно было бы сравнивать “Минина и Пожарского” с Боклем…

Учась в Симбирске – ничего о Свияге, о городе, о родных (тамошних) поэтах – Аксаковых, Карамзине, Языкове, о Волге – там уже прекрасной и великой. Учась в Костроме – не знал, что это имя – еще имя языческой богини; ничего – о Ипатьевском монастыре. О чудотворном образе (местной) Феодоровской Божией Матери – ничего. Учась в Нижнем – ничего о “Новгороде низовыя земли”, о “Макарии, откуда ярмарка”, об Унже (река) и ее староверах» [54, с. 257–258].

ской революции, нежели катковских гимназий. Наложение «Комментариев о Галльской войне» на четвертый сон Веры Павловны в числе прочих плодов породило концентрированный нигилизм, который убил все остальное[1].

Можно было бы предположить, что в советский период Катков навсегда останется забытым реакционером, чей карикатурный портрет будет выложен центонами из ленинских цитат. Но вот в 1978 году В.А. Твардовская публикует классическую монографию «Идеология пореформенного самодержавия». В ней дочь великого поэта, выпускавшего здесь же, в двух шагах от былой резиденции Каткова, культовый для советской либеральной интеллигенции журнал, с редкой для второй половины «застоя» публицистической страстностью начинает бичевать позабытого издателя газет за крестовый поход против «нашей иностранной интеллигенции», предпринятый им в апреле 1878 года по случаю выступления охотнорядцев. За неожиданно страстными для работы, посвященной событиям столетней давности, оценками – «бесталанные, низкие и злобные выученики», «невежественный реакционер», «жалкая попытка дискредитации» [81, с. 178] – виден второй смысл, обращенный к куда более близким событиям преследования властью недовольной ею интеллигенции.

Проходит еще сорок лет, и главный государственный пропагандист Империи возвращается в оборот государственной пропаганды новой России. 31 августа 2008 года, вскоре после «пятидневной войны», Дмитрий Киселев в «Вестях» в контексте антирусофобской полемики вдруг начал цитировать Каткова:

> «Вслед за Тютчевым о внутрироссийской русофобии как о настоящем предательстве писал и известный публицист XIX века Михаил Никифорович Катков: “Наша интеллигенция выбивается из сил, желая показать себя как можно менее русскою, полагая, что в этом-то и состоит европеизм. Но европейская интеллигенция так не мыслит. Наше варварство в нашей иностранной интеллигенции. Истинное варварство ходит у нас не в сером армяке, а больше во фраке и даже в белых перчатках”» [87].

Но актуальность Каткова не ограничивается одной лишь его охранительной ипостасью. Возрастает, несмотря на Casus Ulianovi, число сторонников катковского образовательного классицизма [89]. С болезненной актуальностью, точно сошедшие со страниц современных националистических блогов, звучат инвективы «Московских ведомостей» в адрес антинациональной политики, плодящей сепаратизмы:

> «Мы приобрели бессознательную склонность давать не только особое положение инородческим элементам, но и сообщать им преимущества над русской народностью и тем развивать в них не только стремление к отдельности, но и чувство гордости своею отдельностью; мы приобрели инстинктивную склонность унижать свою народность» [16, с. 174].

Даже в заочном споре Константина Леонтьева и Каткова относительно политической и церковной проблемы фанариотства поставлена новейшими событиями жирная точка[2].

По целому спектру вопросов – единство и целостность России и угроза сепаратизма, русофобский настрой нашей интеллигенции, украинский вопрос, необходимость индустриального и инфраструктурного развития, тяготение над теми или иными нашими ведомствами проклятия превращения в «иностранные министерства русских дел» – кат-

[1] Первым на возможную связь ленинизма и вненационального духа катковской гимназии обратил внимание Артемий Ермаков в своих «Записках из мертвой школы» [86].

[2] «Имя фанариотов приобрело печальную известность на всем Востоке. Из этого испорченного отродья греческого племени вышла вся эта толпа пронырливых интриганов… Сами греки – греки королевства и островов – гнушаются этими орудиями политики ислама, и для истинного, свободного грека нет брани оскорбительнее названия фанариота. Недаром же ославилось это имя, принадлежащее той отверженной ветви, из которой по преимуществу получает своих пастырей константинопольская паства» [47, с. 276–277].

ковские идеи, оценки, образы оказываются сегодня более актуальными, чем выстроенные со всем глубокомыслием теории. И не случайно, что современная российская историография переживает настоящий ренессанс Каткова, число одних только монографических исследований этой фигуры уже превзошло своим количеством дореволюционную пору [69, 70, 78, 79, 73, 75].

Нация одной Газеты

Михаил Никифорович был первым в России политическим деятелем, который положил в основу своей программы осознанный *политический национализм*. Если до того момента из идеи нации русские общественные мыслители исходили как из естественной данности, оформляя в национальном ключе свое общественное видение или, как С.С. Уваров в Министерстве просвещения, в программу административных мероприятий по нациестроительству [85], то Катков сделал русский национализм цельной, последовательной, четко прописанной *идеологией*, ставшей основой для ежедневного, массово тиражируемого публичного слова.

А.А. Тесля так описывает параметры этой идеологии:

> «Катковская программа, предполагавшая в качестве определяющего признака нации "культуру" и ориентированное на французский опыт нациестроительство… Русские в этой перспективе мыслились как "имперская нация", открытая по культурному принципу и проводящая активную политику ассимиляции иных национальных групп. Трансформация империи предполагалась как создание национальной метрополии – с имперской политикой в отношении окраин (политика "гегемонии" в отношении Финляндии и Польши) и колонизационной политикой в отношении "восточных" и "южных" колоний» [83, с. 228].

В этой программе (с изложением ее исследователем можно спорить по частностям, но не в целом) трудно не увидеть отражение того сформировавшегося в XIX веке типа европейского национализма, который Эрнст Геллнер описал формулой: «одна культура – одно государство» [65, с. 166][1]. Для становящегося в рамках европейских государств индустриального общества требуется стандартизированная высокая культура, сопровождающаяся универсальным образованием, безличной, свободной от контекста массовой коммуникацией, единством правил формирования и декодирования сообщений, иными словами – «стандартизированная высокая культура» [65, с. 157].

> «Как у каждой женщины должен быть муж, желательно собственный, так же и у культуры должно быть государство, лучше всего свое, – иронизирует Геллнер. – Государства-культуры начинают затем соревноваться друг с другом. Так и возникает внутренне подвижное, атомизированное эгалитарное общество, обладающее стандартизованной письменной культурой "высокого" типа. При этом заботу о распространении и поддержании культуры и об охране границ ее ареала берет на себя государство. Можно сказать короче: одна культура – одно государство; одно государство – одна культура» [65, с. 159–160].

Разумеется, такое государство сталкивается с многообразием данного ему в эмпи-

[1] Идущие ниже отсылки на теорию национализма Эрнста Геллнера ни в коем случае не означают, что автор разделяет характерный для этого исследователя «модернистский» подход к происхождению нации. В этом аспекте наша позиция в целом совпадает с позицией Энтони Смита [80]. В то же время характеристика Геллнером судеб наций и национализма в индустриальную эпоху, показанная им связь между индустриальным укладом, стандартизацией культуры и формированием современных политических наций представляется нам в целом справедливой и фактически обоснованной.

рике материала. Нигде, ни в одной стране не находится по-настоящему гомогенной и стандартизированной высокой культуры. Всюду есть этнические и культурные меньшинства, сепаратистские поползновения, группы с особенностями. Стандартизацию культурного поля государства могут осуществлять различными способами - могут проводить культурно-государственные границы, согласно старым этническим, могут убивать или депортировать культурных чужаков, могут (и это, по сути, самый мягкий способ), осуществлять ассимиляцию путем политических и образовательных мероприятий при помощи регламентирующей деятельности бюрократии и самодеятельности активистов.

> «Можно изменять людей, прививая им новую культуру, включающую, в числе прочего, новый образ “я” и способность проецировать этот образ так, чтобы его воспринимали другие. Тогда новая культура займет место их прежней культуры, где были другие образы, которые они носили в себе и проецировали в общении. Отправной точкой может в данном случае быть какой-то диалект или культура, близкая к той, которую им предстоит освоить, или достаточно от нее удаленная. Процесс этот может развиваться спонтанно, даже почти неосознанно. Он может быть результатом директив правительства или руководителей сферы образования, а может осуществляться самодеятельными культурными активистами, не зависящими от властей и даже действующими вразрез с их указаниями» [65, с. 166–167].

М.Н. Катков был классическим воплощением описанного выше национализма, связанного с культурно-гражданской ассимиляцией и внутренним ирредентизмом. Настолько классическим, что мог бы послужить для британского исследователя иллюстрацией его тезиса и в то же время опровержением его теории «часовых поясов» национализма, в которой право на полноценный граждански-ассимиляционный национализм признается только за передовыми регионами Европы в «первом» и «втором» часовых поясах. Идеология Каткова, соответствует более всего «второму» поясу, германо-итальянскому, «где построение национальных государств шло по пути унификации» [65, с. 181].

Катков сам отлично осознает, что его программа родственна именно германо-итальянскому ирредентизму, но только направленному не за внешние рубежи Отечества, а внутрь его.

> «Не беспримерное ли явление представляет собой теперь Россия, делающая завоевания в пределах собственной территории? Иначе не смотрят политические люди Европы на нынешние действия нашего правительства, например в западном крае, как на завоевания, хотя эти завоевания состоят только в том, что Россия захотела наконец сериозно быть Россией в своих собственных владениях. Расширение пределов русской территории не считалось бы таким приращением могущества России, как ее вступление в свои права у себя дома…» [20, с. 267].

Пафос деятельности Каткова в утверждении цельности, однородности и однонациональности Российской Империи, связанной не с этническим началом, а с двуединством государственности и высокой культуры. Отсюда у Каткова крайняя нетерпимость к любым проявлениям «государства в государстве», к любым исключительным политическим и этническим привилегиям, любому сепаратизму и в то же время широчайшая терпимость – к старообрядцам, не связанным с полонизмом католикам, евреям. В основе катковского национализма – не этно-конфессиональная, а политико-культурная рамка.

Этническое начало в решении государственных вопросов у Каткова вообще не имеет права голоса. «Неужели государственная область определяется этнографическими признаками? Неужели судьба государственной области может колебаться и решаться вследствие этнографических или лингвистических исследований и споров? Неужели

словарь и грамматика пойдут когда-нибудь распределять государственные территории? Государство не совпадает с племенем, и государственная область не есть только то пространство земли, которое заселено людьми одного языка» [12, с. 51].

Его «этнический нигилизм» на пике антисепаратистской полемики достигает порой самых крайних форм, вплоть до отречения от всякой славянской солидарности: «Мы никогда не вступались… за живые или выродившиеся славянские племена в пределах Пруссии и Австрии… непризнавание этими государствами, и особенно Пруссией, славянских племен в качестве особых национальностей мы находили, напротив, делом не только разумным, с ее точки зрения, но и достойным подражания России по отношению к инородческим племенам, обитающим в наших пределах» [17, с. 230].

В то же время Катков отлично осознает, что реальную единую высокую культуру в России еще только предстоит создать. И именно с этим связан катковский классицизм, являющийся попыткой задать максимально высокую и объединяющую этнокультурные группы образовательную планку. Этот ассимиляторский аспект катковской образовательной программы зачастую забывается, когда встает вопрос о причинах ощущаемого в ней некоторого отчуждения от русских культурных начал. Русское начало в его славянофильском понимании, будучи положено в основу образовательного стандарта, вольно или невольно «разделяло» бы. Классическое, как казалось Каткову, объединяло и задавало искомый стандартизированный образец высокой культуры.

Разумеется, такая программа идеального тождества государства и культуры, свободного от сепаратистских и этнических «узких мест» могла быть в реальности осуществлена только правительством при помощи административной и образовательной политики. Никакие частные, общественные силы не могли бы сравниться по эффективности унифицирующего воздействия с циркуляром Министерства просвещения. Именно здесь кроется исток того феномена, который А.Э. Котов наименовал *бюрократическим национализмом* Каткова. «В 1870-е годы Катков все больше осознает, что обладает *одним лишь средством* для проведения в жизнь своих взглядов – *государственным аппаратом*», – отмечает исследователь [70, с. 88].

Возможно, более точно было бы сказать, что в реальных исторических условиях России второй половины XIX века для реализации катковской ассимиляционистской культурно-политической программы не было и не могло быть иного исполнителя, кроме бюрократии, поскольку именно бюрократия осуществляла поддержание петербургской империи в «западноевропейском» историческом поясе, для которого катковская программа и была актуальной.

Расхождение Каткова со славянофилами в этом смысле также было предопределено. Славянофильский кружок действовал в общем и целом в духе «третьего пояса», ориентируясь на этническое пробуждение русских как своего рода «малой нации», заключенной в стальной кокон европеизированной империи, в рамках которой русские оказались в значительной степени лишены права на культурную самобытность и политическую представленность. При этом славянофилы апеллировали к обществу как совокупности реально существующих или воображаемых действующих сил этноса, надеялись на самоорганизацию русских сил на основе традиционной культуры, сохраненной в своей чистоте крестьянством.

Катков сходится со славянофилами в том, что Россия должна быть «для русских». Он одним из первых употребляет это словосочетание [66, с. 30–50]. Однако в его случае речь идет об ориентированности политики государства на интересы нации как исторического феномена и гражданского сообщества. В то же время как представитель «передовых» часовых поясов национализма Катков не мог, разумеется, принять акцент на архаичной или простонародной культуре, коль скоро сам западноевропейский национализм с его созданием высокой стандартизированной культуры был по своей сути антикрестьянским.

«Установление централизованной культуры отнюдь не опиралось при этом на культуру крестьянства, а было направлено против нее. Крестьян надлежало превратить в настоящих граждан, но не учитывать особенности их культуры, определяя культуру нации. Поэтому этнография не имела в данном случае касательства к формированию нации. Какой смысл фиксировать то, что намереваешься разрушить?» – отмечает Геллнер [65, с. 181].

Поскольку для Каткова и лично, и в качестве представителя ассимиляционистского национализма характерен известного рода нигилизм в отношении допетровской русской культуры, то и опора на массовые общественные силы, соединенные именно этой культурой, оказывается для него невозможной.

Единственное исключение, которое делает Катков для старой России в своем отрицании, – это государственное строительство, государственный инстинкт русского народа, которыми он буквально заворожен на протяжении всего своего полувекового публицистического творчества. Здесь из-под его пера могут вырваться и апология Ивана Грозного (фигуры для славянофилов совершенно неприемлемой), и восторг перед старомосковской бюрократией:

> «Старый дьяк Московского государства, не знавший ни по-французски, ни по-немецки, не слушавший университетских лекций, не походил, как мы, на ребенка, но был настоящим человеком, зрелым мужем, судил о вещах здравомысленно и как следует зрелому мужу. Почитайте только наши старые юридические акты и посравните их с лепетаньем наших нынешних ученых юристов…» [12, с. 69].

Воплощением государственного инстинкта и государственного начала volens nolens является государственный аппарат. И потому катковский национализм самой своей неумолимой логикой вынужден был принять бюрократический, административный, анти-«общественнический» оттенок. Потому Катков был обречен на противостояние славянофильской программе соборного устроения России на основе общественных элементов. То общество, от имени которого хотели выступать славянофилы, должно было быть перековано, а того общества, которое соответствовало бы катковскому национально-культурному идеалу, еще не было, его только предстояло создать.

А когда оно было создано катковской гимназией на деле, то воплотилось в двух полярных фигурах – Столыпине, который и сам был по профессии бюрократом, и Ленине, который стал бюрократом из революционера. Все «общественники», все гучковы, милюковы и керенские, пытавшиеся сыграть свою роль между этими двумя полюсами, сделали это откровенно слабо и в конечном счете содействовали провалу дела первого полюса и безоговорочному успеху второго.

Превращение «Московских ведомостей» в «Департамент Каткова» было, таким образом, вполне закономерно. Катковский тип национализма и родился из духа государственной бюрократии. Тем характернее тот факт, что сам Михаил Никифорович, сидя, точно паук, в центре сотен политических нитей, никогда никаким государственным постом, хотя бы иллюзией административной власти не соблазнился. Как не был он и «серым кардиналом». Напротив, он всегда претендовал на смысловое управление правительством при помощи обнародования публичных «передовых» директив. Делая ставку на бюрократию, Катков, однако, управлял этой бюрократией при помощи газеты.

В этом тоже нет ничего удивительного для эпохи становящегося новоевропейского национализма, в формировании которого именно пресса сыграла, наряду со школой, ведущую роль. «Общая культура становится необходимой тогда, когда труд перестает быть физическим и становится семантическим», – отмечает Геллнер [65, с. 177]. И подчеркивает, что «это требует длительного обучения и огромной семантической дисциплины» [65, с. 156].

Таким фактором семантической дисциплины для европейских обществ той эпохи становится газета. «Из множества непредвиденных последствий книгопечатания наиболее известно, видимо, рождение национализма, – отмечает Маршалл Маклюэн. – Политическая унификация населений на основе диалектных и языковых группировок была немыслима, пока печать не превратила каждый народный язык в экстенсивное средство массового общения. Племя – расширенная форма семьи, состоящей из кровных родственников, – взрывается печатью и заменяется ассоциацией людей, гомогенно обученных быть индивидами. Сам национализм предстал в энергичном новом визуальном образе групповой судьбы и группового статуса и зависел от скорости движения информации, которая до появления печати была неведома» [74, с. 200–201].

Сама газета – это своего рода наглядный образ нации. Литеры на одном языке идут строгими рядами в постоянном и логичном расположении, всякое слово на своем месте, этот порядок не нарушают ни варваризм, ни вульгаризм, ни диалектизм.

Катков был конгениален самому духу национальной прессы – стандартизированному, стирающему границы племенной и сословной особенности, сопрягающему всех включенных в определенное языковое поле в единый политический порядок. В нем нет пристрастия к этническим подробностям, «сочиненным теориям, возводящим в мертвящий идеал status quo народного быта» [22, с. 693], характерного для славянофилов. Но нет и космополитической растворенности либерализма, оборачивающейся «патриотизмом заграницы», когда «наша интеллигенция выбивается из сил показать себя как можно менее русской, полагая, что в этом-то и состоит европеизм» [23, с. 405].

Особенностью этого словесного космоса в России было то, что он был монологом одного человека. Причем воспринимался как монолог, пожалуй, в еще большей степени, чем был на деле. Передовицы «Московских ведомостей» создавались Коллективным Катковым, целым кругом авторов, соединенных, однако, единством идей и воли редактора «Московских ведомостей» практически до неразличимости[1].

«В России и Центральной Европе книга и газета развивались почти одновременно, в результате чего эти две формы так и не были четко разделены. Тамошняя журналистика распространяет частную точку зрения литературного мандарина», – отмечает Маклюэн [74, с. 234–235]. Катков, безусловно, был именно таким «литературным мандарином», рассматривавшим газету как изложение своей частной точки зрения. «“Московские Ведомости” – мой *личный* орган», – говорил Михаил Никифорович князю Н.П. Мещерскому, как бы отрицая существование такого явления как «la presse russe» [49, с. 104].

Рассуждая в маклюэновской парадигме, можно сказать, что катковские «Московские ведомости» были своего рода псевдоморфозом – книгой-монологом в обертке рекламной смеси. «Рекламные объявления (и сводки положения дел на рынке ценных бумаг) – это фундамент, на котором держится пресса» [74, с. 235]. Передовые статьи «Московских ве-

[1] В феврале 1866 года Тютчев писал М.А. Георгиевской (Денисьевой), жене одного из ключевых сотрудников катковской газеты, заведовавшего внешнеполитическими вопросами: «За неимением письменных извещений я стараюсь вычитать коли не вас, так мужа вашего из передовых статей «Московских вед<омостей>»... но как-то не удается. – Выдается из них, а особливо из последних по финансовым вопросам, только сердитый горб Леонтьева...» [59, с. 128].

Пройдет чуть больше месяца, и газета Каткова получит первое «валуевское предостережение» за статью в № 61 о военных приготовлениях Австрии и Пруссии, написанную… А.И. Георгиевским. Передовица содержала такой совершенно «катковский» и по интонации, и по смыслу пассаж: «Не странное ли дело, что мысль о государственном единстве России должна себе прокладывать путь с тяжкими усилиями, подвергаться всевозможным поруганиям как галлюцинация, как бред безумия, как злой умысел, как демократическая революция и встречать себе неутомимых и ожесточенных противников в сферах влиятельных, – противников, не отступающих ни перед какими средствами?» [21, с. 175]. Никому бы и не пришло (и не приходит в современных изданиях Corpus Catcovianum) отделять написанное рукой Георгиевского от продиктованного Катковым.

домостей» прославившие Каткова, не были «передовицами» в современном понимании этого слова. Они начинались на второй, а порой и на третьей странице вслед за объявлениями. Как правило, непосредственно над «передовицей» шел репертуар Малого театра. «В пятницу, 2го іюля КЪ МИРОВОМУ, к в 3 д. ЦЫГАНКА…». Иногда, конечно, эти репертуарные объявления без всякого умысла звучали в унисон самим передовицам, так что нарочно не придумаешь: «В понедельник, 25го октября: ЛИБЕРАЛЪ, к въ 5 д. МОДНЫЙ ЛАКЕЙ» (№ 231 24 октября 1871 года). Были тут и вексельные курсы, и отчеты о финансовом положении банков и сборах железных дорог. Но основу финансовой стабильности катковской газеты составляли казенные объявления.

Взору грамотного русского общества представала экстравагантная картина, как в капле отражающая этап в истории русской прессы и развитии гражданского общества, не вполне исчерпанный и по сей день. Газета – рекламная смесь, держащаяся на монопольном праве размещения императивно-монологичных государственных объявлений, которыми оплачивается императивно-монологичный же голос «литературного мандарина», использующего эту газету для нападок на высших чиновников, по сути, на всех, кроме императора (на деле и на императора тоже, но более прикровенно). Издатель-монологист как частное лицо из Москвы выступает от имени русского общественного мнения и пуще всего печется о том, чтобы не лишиться независимости и не быть обвиненным в подкупности, однако его монологи воспринимаются в петербургских кабинетах как руководство к действию, а в Европе трактуются как голос политики России едва ли не в большей степени, чем ноты Министерства иностранных дел.

Философ в шкуре сторожевого пса

Быть независимым и при этом, по сути, единственным и самодовлеющим голосом общественного мнения, отражением воли и интересов нации – представлять собой нацию, не нуждаясь ни в каких конкурентах, – такова была, на наш взгляд, катковская амбиция.

Михаил Никифорович сам невольно приоткрыл над нею завесу, объясняясь при посредничестве Е.М. Феоктистова с императором по поводу своих нападок на Министерство иностранных дел. В ответ на переданное от имени царя порицание он попросил передать, в частности, следующее: «*Я повинуюсь инстинкту сторожевого пса, который не может быть спокоен, чуя недоброе для дома и для его хозяина*». Феоктистов отмечает, что, «подумав, Катков нашел выражение “сторожевой пес” неудобным и заменил его другим» [60, с. 248].

Неудобство, очевидно, проистекало из несовпадения той семиотической системы, в которой понял бы это выражение страстный охотник император, и той, в которой оно родилось у самого Каткова, – платоновской философии. Образ «сторожевого пса» – один из ключевых в «Государстве» Платона при характеристике сословия «стражей»: «Ведь в нашем государстве мы поручили его защитникам служить, как сторожевым псам, а правителям – как пастухам» (Государство IV, 440d).

Впрочем, не лукавил ли мастер недомолвок, каковым воспринимал Каткова Константин Леонтьев, когда сводил свою роль в конструкции идеального государства к роли стража? Буквально все в его деятельности и личном облике выдает стремление к роли правителя-философа. Разумеется, это не притязание на место монарха, как не притязал Платон на место Дионисия Сиракузского. Катков последовательно подчеркивает, что он пишет для Государя, а когда тот его читать не хочет – умолкает[1]. Это притязание на своего

[1] «*Для кого* писать? Тот, для кого я единственно держал перо в руках, сам отступается от своей власти, удерживая только ее внешность. Все остальное – мираж на болоте», – передавал в июле 1880 года предельное разочарование Каткова Б.М. Маркевич [48, с. 154]. В этой формуле очевидно притязание быть царским и ничьим больше советником.

рода смыслократическую власть, на формулирование направлений и смысловых рамок политики, на внесение ясности в путаницу практических интересов и метаний.

В этом смысле определение катковского национализма как «бюрократического» представляется все же недостаточным. По исполнительным средствам он и в самом деле таков, но по инструментам целеполагания это все-таки *смыслократический* национализм – Катков притязал на то, чтобы генерировать для бюрократии целостный философский образ нации и требовать воплощения провозглашенных принципов в конкретных административных деяниях.

Трудно признать достоверным портрет Каткова-оппортуниста, рисуемый не только в либеральной, как у Р.И. Сементковского [55], но и в консервативной публицистике конца XIX века. «Катков был весь век не мыслителем, даже не пропагандистом, а вечным бойцом, ультрапрактическим адвокатом и прокурором. Он говорил не для того, чтобы раскрыть объективную истину, а чтобы достигнуть победы в целях данного дня», – утверждал Лев Тихомиров [58, с. 316]. Константин Леонтьев называл его «сапером» в противоположность инженеру и настаивал, что Михаил Никифорович «истине высшей, широчайшей всегда почти предпочитал истину низшую, более близкую и более узкую; правде более общей и основной – правду завтрашнего дня и потребность немедленного приложения…» [44, с. 453]. Мало того, «как человек высокого философского образования, бывший даже и сам философ по профессии, уважал (хотя и довольно холодно) теории других… но сам не имел уже ни времени, ни охоты ими заниматься» [44, с. 457]. Василий Розанов упрекал его в «сытости души эмпирическим содержанием действительности» [53, с. 548]. Все эти приговоры исходят от лиц, не знакомых с Катковым коротко, а то и вовсе никогда его не видевших.

Совсем иной Катков предстает в воспоминаниях тех, кто знаком был с Михаилом Никифоровичем действительно близко. Перед нами не погруженный в эмпирику и подчиненный требованию политического момента великий оппортунист, а отрешенный, погруженный в созерцание метафизических основ философ, извлекающий лозунги политического момента и тактические маневры, казалось, из самих первоначал.

В облике и манере общения Каткова превалировала отмечаемая многими отрешенность. Н.П. Мещерский отмечал в Каткове «какое-то безучастие – не то холодность, не то рассеяность» и связывал это с тем, что «у Михаила Никифоровича было, можно сказать, инстинктивное отвращение (как бы боязнь) к глупости, пустоте речи, бесцельности» [49, с. 75]. «Наши разговоры нередко касались философских предметов. Катков говорил очень своеобразно: отрывочными краткими изречениями и намеками... Я с удовольствием слушал эту импровизацию, будучи вполне единомышленником Каткова в метафизике», – вспоминал В.С. Соловьев [56, с. 555].

«Мир, в котором жил Михаил Никифорович, не был тот мир, который в данную минуту непосредственно окружал его в действительности, – отмечал многолетний сотрудник Каткова Н.А. Любимов. – Это было заметно даже в особенностях его неопределенного взора, который делал впечатление на всех, его знавших, как нечто оригинальное, ему принадлежавшее. Он имел обыкновенно дело не с людьми и вещами в их реальной полноте существования, а с образами людей и вещей, как стояли они перед его могущественным умственным прозрением при освещении той или другой мысли, всецело поглощавшей его в данную минуту» [47, с. 225].

Сравнивая Каткова с «увлекающимся Белинским», Любимов указывает на «некоторую душевную сухость» как черту душевного склада Михаила Никифоровича [47, с. 224]. Возможно, Любимов в этот момент вспоминал и главную философскую работу Каткова «Очерки древнейшего периода греческой философии», в которой цитировалось следующее изречение Гераклита: «*сухая душа самая лучшая и самая мудрая; как молния рассекает облако, так и сухая душа возжигает тело*». «В этой сухости, – характеризовал

греческого философа Катков, – полагал он, между прочим, отличие гелленской натуры от варварской; чем страна суше, тем мудрее и лучше рождаются в ней люди» [2, с. 288].

Катков воспринимал свою деятельность не как поиск сиюминутного политического маневра, а напротив – как установление базовых политических принципов на основании метафизических идей. При решении политических вопросов, утверждает В.С. Соловьев, «он настаивал на принципиальной стороне дела. “Исполнение – это понемногу, со временем, само собою! Главное, принцип: установлен принцип – дело выиграно”. Слышался старый шеллингианец» [56, с. 559].

Политическое шеллингианство

Именно философия Шеллинга стала для Каткова тем метафизическим фундаментом, той матрицей мысли, с помощью которой он формулировал многочисленные «оппортунистические» и на поверхности противоречивые суждения. И в самом деле, в статьях как индивидуального, так и коллективного Каткова разных лет можно найти противоречия в базовых политических тезисах – за и против земства, за и против суда присяжных, за и против поддержки славян и т.д., но никогда не будет противоречий в той философской картине, в том образе мироздания, в рамках которого эти суждения выносятся.

Разумеется, автор этих строк не претендует на то, чтобы изложить хотя бы в кратком конспекте всю разноречивую философию Шеллинга. Но сквозь его творчество проходит один философский мотив, который оказался принципиальным для формирования политической матрицы Каткова. Этот важнейший для Шеллинга мотив – противоположение *центра и периферии,* противопоставление связанных с ними типов движения *центробежного,* сопряженного с удалением, отталкиванием от центра и *центростремительного,* связанного притяжением и приближением к центру вплоть до обретения единства с ним.

Центральным для Шеллинга является положение высшей духовной реальности, Абсолюта, заключенного в абсолюте тождества (А=А), Бога. На периферию же вытолкнуты движением «мировых эпох» реальности вторичные, подчиненные, стремящиеся сепарироваться от Абсолюта, – прежде всего человек и вещный мир (в начале которых, однако, лежит движение самого Абсолюта).

Центробежное, эксцентрическое движение влечет существа к удалению от центра, максимальному распространению, попытке обретения самостоятельного от Абсолюта существования. Каждое из этих существ, вещей и элементов, поскольку в нем все-таки заключен дух первопринципа, стремится установить себя как центр. «В каждом из этих элементов продолжает жить дух первопринципа, каждый из этих элементов хочет быть центром, утвердиться как центр, в то время как той высшей необходимостью он полагается как периферический» [36, с. 468]. От этого новоположенного центра в свою очередь стремится удалиться периферия – и так до пределов универсума.

Весь порядок вещей порожден этим центробежным разбеганием, которое Шеллинг обозначит как «расширение тождества в различие» [34, с. 307], а в своей поздней философии прямо свяжет с грехом, суть которого усмотрит в своевольной попытке обретения отдельности, самостоятельности от Абсолюта. «Болезнь единичного», на взгляд Шеллинга, возникает из-за того, что «то, что имеет свою свободу или жизнь только для того, чтобы оставаться в рамках целого, стремится быть для себя» [33, с. 114]. Именно это своеволие порождает онтологическую обособленность существ, продукт их своего рода онтологического и нравственного сепаратизма.

Центробежное движение универсума, впрочем, возможно, по Шеллингу, лишь потому, что каждая вещь, включая неживую природу, сохраняет в себе принадлежность к Абсо-

люту. Мир – это представление первоначального всеединства, сохраняющегося на самых дальних его пределах. «В любой вещи присутствует неразделенная и неделимая субстанция, которая в соответствии с ограничениями формы вещи производит непосредственно из себя и без внешнего воздействия все, что полагается в этой вещи…» [34, с. 309–310].

Присутствие Абсолюта в вещах делает возможным *центростремительное,* концентрическое движение, «возвращение различия в тождество» [34, с. 307], обретение человеком Абсолюта в себе, собирание вместе сил природы и человека, упорядочение, и так до полного воссоединения человека и природы с Богом где-то в грядущем.

Одна вещь устремляется к другой вещи не благодаря внешнему воздействию, а потому, что центростремительная сила присуща самой притягивающейся вещи. «Причина центростремления притягивающегося тела… есть имманентный принцип самого притягивающегося тела, которое так же необходимо находится в центре, как оно абсолютно есть в себе самом» [34, с. 308–309].

Британский историк философии Фредерик Коплстон дает следующую характеристику шеллинговой философии тождества: «Творение является отпадением в том смысле, что оно представляет собой центробежное движение. Абсолютное тождество дифференцируется или расщепляется на феноменальном уровне, хотя и не само по себе. Но существует и центростремительное движение, возвращение к Богу. Это не значит, что отдельные конечные материальные вещи как таковые возвращаются к божественной Идее» [68, с. 158].

На позднем этапе своей философии Шеллинг, уходя от пантеизма Спинозы и приближаясь к христианству, отказывается от интерпретации самостояния существ как вины, а природы как отпадения. Теперь природа для него – это самораскрытие Абсолюта, а свобода – желанна для Бога. Бог не хочет слепой порабощенности существ бытием. Напротив, «становление свободным предусмотрено и желанно для Бога» [35, с. 251]. Человек – это «великий вольноотпущенник творца». «Бог отпускает ставшее на свободу и более не налагает на него руку, но простирает ее над ним, т.е. благословляет его, предоставляет ему волю, дает ему мир» [35, с. 252].

Согласно позднему Шеллингу центростремительное собирание Абсолюта происходит уже в нравственном и мистическом смысле, через постижение Бога в Его откровении и приобщение к благодати Духа. Философу наверняка понравилось бы выдержанное в шеллингианском ключе хомяковское определение Церкви: «Церковь не есть множество лиц в их личной отдельности, но единство Божией благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати» [61, с. 5].

> «История есть эпическая поэма, составленная в уме Бога. Две главные ее части таковы: в первой изображается уход человечества от своего центра к самым дальним пределам, а вторая изображает возвращение. Первая часть – “Илиада”, вторая – “Одиссея” истории. В первой было центробежное движение, во второй – центростремительное», – резюмировал свою философию Шеллинг [цит по: 68, с. 159].

Глубочайшая связь политической мысли Каткова с шеллинговым концептом центробежного и центростремительного движений не укрылась от Василия Розанова:

> «Катков давно стал знаменем, символом известных стремлений. Соединим их в одно: он есть символ всего центростремительного в нашей земле, устремляющегося к центру, к сосредоточению; в противовес иным центробежным силам, также обильно развитым в нашей земле, – силам, разбегающимся от центра к периферии, стремящимся разорвать целость нашего сознания, целость истории нашей, наконец, целость нашей территории». [52, с. 605].

Розанов здесь прямо указывает на связь философского и интуитивно национального аспектов творчества знаменитого публициста: «Этот профессор университета, автор “Очерков древнейшего периода греческой философии”, был силен не тем, что дала ему школа, – продолжал Розанов, – не тем, чему выучился заграницею, хотя всему, чему учился, он учился хорошо; – он силен был дедовской землей, которую носил за пазухой своей рубахи, под новым сюртуком» [52, с. 605].

Главное философское произведение Каткова – «Очерки древнейшего периода греческой философии» упомянуто здесь не случайно. В этом произведении, которое сам автор характеризовал как одушевляемое «тем общим философским воззрением, которое дает жизнь его мысли и вынесено им из Положительной Философии Шеллинга» [3, с. 342], проблема центростремительного и центробежного движения оказывается одной из ключевых. Катков находит у Платона, и даже у Гераклита эти движения, через которые раскрывается двойство первичной сущности, открывающейся «как единое в <одно> и то же время бесчисленное, как стремление к центру, к внутреннему сосредоточению и как немощь, удерживающая его на периферии» [2, с. 235].

> «Есть в “Тиме” место о двоякого рода круговратном движении, – утверждает Катков. – Платон различает, во-первых, круговратное движение натуры тождественной, неделимой, самостоятельной, как бы духовной; во-вторых, натуры, лишенной самости, делимой, натуры, в которой все друг друга исключает и все относится как *другое к другому*.
>
> Первое движение, движение натуры самостоятельной или тождественной и есть тот бег чистого эфира. Цель этого движения есть сосредоточение, это движение есть стремление удержаться в самом себе, в своей чистой активности. Неотразимая необходимость, выражающаяся в собственной немощи этого бытия, удерживает его на периферии, и недостижимая цель выразилась в круговратности движения…. Силою центростремительною является здесь собственное стремление движущегося, силою центробежною – необходимость, не допускающая его к центру… Стремящееся стремится удержаться в единстве, но в своей хаотической безграничности оно расторгается на бесчисленность, собирается и снова расторгается…
>
> Второй круг противоположен первому; следовательно, в нем должно находиться обратное отношение в условиях движения. Если в первом собственное стремление движущегося есть стремление к центру, то во втором собственное стремление есть бег от центра. Если в первом необходимость и немощь удерживает силу, стремящуюся к центру, и парализует это стремление, то во втором, наоборот, необходимость должна вопреки его собственно центробежному стремлению, влечь его к центру. Этот центр, этот пункт тяготения вынужденного, тяготения вследствие немощи, есть другое. Одно по необходимости тяготеет к другому, а предоставленное себе, оно бежало бы прочь в безграничность. Это движение свойственно бытию уже приведенному в пассивное состояние. По Платону, это бытие непосредственно граничит с телесным и собственно вещественным, и вообще согласно с точкою зрения Платона имеет меньшее достоинство, нежели первое, в котором преобладает активность и самостоятельность» [2, с. 245–246].

Усматривает русский философ превосходство центростремительности и у Гераклита: «Представление смерти у Гераклита, как кажется, соответствует этому перевороту в движущих силах кругообращения. Его огонь или душа умирает, когда лишается своей центростремительности и, обращенная в противную сторону, становится натурой центробежною. Переходы в область центробежного бытия выражаются уже сжатием. Здесь бес-

численное фиксируется в своей бесчисленности, и каждое пассивно тяготеет к другому. Каждое в этом бытии, утверждаясь в своей отдельности, становится пассивным относительно другого и означает тем, что вся сила этого бытия становится бессилием относительно другой превозмогающей силы» [2, с. 246].

Противопоставление «благородного» центростремительного, концентрического движения и «низкого» центробежного эксцентрического станет основой катковской политической матрицы, используясь многократно в самом разном контексте. Прежде всего, конечно, для противопоставления государственного единства сепаратизму, но также и для обоснования необходимости классической системы в гимназиях, где концентрация должна противостать многопредметности: «Характеристическая черта истинно европейской школы есть то, что на педагогическом языке называется концентрация, сосредоточение, собирание умственных сил, а тот элемент, посредством которого совершается это дело концентрации, – элемент, нами отвергаемый в качестве бесплодного и бессмысленного, суть древнеклассические языки, греческий и латинский» [15, с. 305].

Вполне пригоден этот концепт оказывается и для анализа иностранной политики, неожиданно актуального и по сей день.

> «В стране, во многом глубоко несходной с нами, но также великой и смотрящей в будущее, – в Северной Америке нет и помину о партиях либеральной и консервативной в политическом смысле, – писал Катков в марте 1881 года, вскоре после цареубийства. – Зато там есть две партии, которые постоянно и открыто борются между собой. В первой – вся центростремительная сила государства, на которой зиждется его единство и держится его целость, патриотический дух и национальное чувство; это партия государственная, которая в Америке зовется республиканской. Другая представляет собой движение центробежное, партия расторжения и разложения, которая от этапа к этапу влечет людей к измене и бунту; она зовется в Америке демократической партией. Всем известно, в которой из этих двух партий великой заатлантической страны присутствует дух жизни и свободы и которая, напротив, была оплотом рабства. Дух космополитизма, нечистый дух политической безнравственности, расторжения и разложения – вот что роднит наших либералов с антинациональной партией в Северной Америке…» [25, с. 527].

Философские воззрения Каткова, лежащие в основе его политической доктрины, можно, таким образом, обозначить как *политическое шеллингианство*.

Отношение Каткова к шеллингианству находится в плену мифа о его «переходе от Гегеля к Шеллингу», сформированного мемуаристами, в частности Ф.И. Буслаевым (который сам был шеллингианцем в филологии), так описывавшим возвращение Каткова и П.М. Леонтьева из Германии: «Оба они были так увлечены и восторжены идеями автора знаменитой книги о трансцедентальном идеализме, что вполне отказались от туманных отвлечений и бессодержательных форм гегелевской философии, которую до своей поездки в Берлин они усердно и подобострастно исповедовали. Лекции Шеллинга, обильные жизненным историческим содержанием, открывали им новые пути и просветы для исследований…» [37, с. 412].

У советских и постсоветских исследователей этот идейный переход от «прогрессивного» (в марксистской оптике) Гегеля к «реакционному» Шеллингу увязывается напрямую с переходом от либерализма к консерватизму, визуально ассоциируясь с отходом Каткова от «гегельянского» кружка Станкевича. По мнению В.А. Китаева, «будущий редактор «Московских ведомостей» пошел от Гегеля назад – к неошеллингианству» [67, с. 50]. Особенно комично в этом контексте звучит упоминание некоего загадочного «неошеллингианства» –

и это при живом и лично знакомом Каткову Шеллинге[1]. Впрочем, В.М. Кантор и В.А. Твардовская, напротив, отказывались отыскивать истоки консерватизма Каткова «в его юношеской склонности к шеллингианству» [81, с. 17].

Еще более оригинально смотрит на проблему катковского «перехода» В.Ф. Пустарнаков, относящий отказ Каткова от гегельянства к моменту его «радикального поправения», то есть то ли к началу 1860-х, то ли вообще к 1870-м годам: «Примат ценностно-оценочного подхода к философии Шеллинга в "вольной", неакадемической, философии легко просматривается также на примере М.Н. Каткова. Пока Катков не выходил в 40-х гг. XIX в. за пределы умеренно-западнического, либерального консерватизма, он недвусмысленно отдавал предпочтение Гегелю перед Шеллингом. Но, когда Катков радикально «поправел», ему, видимо, показалось неудобным слыть последователем Гегеля, на которого ориентировались русские радикальные демократы, и он высказывался так, как если бы на него наибольшее влияние оказал Шеллинг» [76, с. 10].

Здесь уже, как видим, отрицается даже сама искренность катковского шеллингианства, а суждение формулируется с великолепным презрением к эмпирическому материалу. Если же уделять эмпирике в виде катковских текстов некоторое внимание, то придется поставить под сомнение саму формулу о мнимом «переходе Каткова от Гегеля к Шеллингу».

Несомненно, творчество Гегеля, с которым Катков был хорошо знаком, не могло не оказать на него влияния, повлияло оно и на большинство образованных современников. Однако репутации «гегельянца» Катков был, по всей видимости, обязан более всего своими «кружковыми» связями со Станкевичем (впрочем, тоже начинавшим как шеллингианец) и Белинским, хорошему знанию гегелевской философии, которое в философски полуобразованной среде зачастую принималось за приверженность ей, а главное, – двум своим переводческим трудам. Эти труды – статья гегельянца Ретшера «О философской критике художественного произведения» [6] и отзыв о Пушкине критика-гегельянца Варнгагена фон Энзе, предисловие к которому переводчика и в самом деле отличается неумеренно восторженным тоном: «В лице Гегеля подает нам руку Германия, в лице Германии – вся Европа, целое человечество. Слышите ли? – Нас уже не называют учениками и подражателями... мы заключаем наше краткое введение в статью Варнгагена фон Энзе, статью, в которой мы слышим как бы из другого мира звучащий в привет России и ее великому поэту – голос самого Гегеля» [5, с. 56]. Впрочем, тон этот, если заметить, обращен не столько к восхвалению Гегеля, сколько к прославлению Пушкина.

Совсем иная картина открывается при знакомстве с мировоззрением самого Каткова, выраженным в его авторских текстах. Первая же крупная программная статья молодого автора, – рецензия на «Песни русского народа», изданные И. Сахаровым, опубликованная в «Отечественных записках» в 1839 году, была выполнена в традициях русского шеллингианства. «Уже из первых вступительных строк виден в авторе ученик профессора Павлова, в пансионе которого он обучался», – вспоминал А.Д. Галахов [38, с. 266]. Профессор и содержатель пансиона М.Г. Павлов был одним из виднейших тогдашних русских шеллингианцев заявлявший: «Последователи сего Философа теорию его проводят чрез все царства природы с разительным успехом; по сему теория Шеллинга имеет право на преимущество пред всеми доселе известными» [51, с. 63].

Иногда, впрочем, «центробежные» штудии первых русских шеллингианцев вызывали у потомков лишь иронию. В своей «Истории русской критики» И.И. Иванов отмечает «Один из самых ранних русских шеллингианцев Велланский, оставил ряд сочинений,

[1] «Помимо неокантианства, было в Германии сильное неогегельянство и нечто вроде неофихтеанства. Неошеллингианства не было», – отмечал А.В. Гулыга [91, с. 288].

прославившихся своей невразумительностью и самыми странными аналогиями и обобщениями будто бы на почве естествознания. Но когда русский философ производил удивительнейшие операции над “магнетизмом, элетрицизмом и хемизмом”, когда мужеский пол признавал типом центробежным и соответствующим свету, а женский центростремительным и соответствующим тяжести и даже гордился таким “познанием вещей”, – все это являлось подлинными отголосками шеллингианства» [40, с. 478].

Статья Каткова о русских песнях – первый его манифест не только как филолога, но и как исторического и политического мыслителя, это попытка приложить шеллингианские принципы уже не к царствам природы, но к Русскому Царству, как его историческая судьба отразилась в народных песнях.

Народ Катков рассматривает как единство шеллингианского типа, то есть холистическое, органическое единство, таинственно проявляющееся в индивидуальном и многом: «Народ есть органическое, живое существо, но чисто духовное, а не чувственное. В каждом отдельном предмете части, составляющие его, и единство этих частей, связующее их в одно целое, пребывающее на известной точке пространства, – сопроникаются взаимно и взаимно друг друга условливают. Отнять от предмета это единство – значит рассыпать его на части, значит умертвить его… В народе целость частей существует не явно, как в отдельном предмете: она незрима, она таинственно связует члены народа, по-видимому разрозненные, по-видимому не имеющие никакой внутренней, живой связи. Части народа сами по себе, в их разрозненности, доступны для эмпирического воззрения; но видеть органическое существо в народе, видеть живую связь его частей может только тот, у кого открылись духовные очи» [1, с. 93–94].

Интересно, что позднее, в 1863 году, обсуждая польский вопрос, Катков напишет в «Русском вестнике» настоящий прочувствованный гимн народу как холистической целостности, являющей себя в критические моменты истории.

> «Народ не есть механическая совокупность каких бы то ни было людей. Только умерший народ рассыпается на отдельных людей и превращается в стадо. Но пока народ живет, он есть сила, проходящая чрез миллионы людей неведомо для них самих, так что мы напрасно стали бы доискиваться народа в понятиях и воззрениях разных особ, которые к нему причисляются, жительствуют в его владениях и говорят его языком. Что это за сила, об этом можем мы толковать на досуге; но эта сила есть. В обыкновенную пору она бывает не слышна и не заметна; но бывают минуты, когда она пробуждается и встает самолично в миллионах людей. Как буря, ничем не удержимая, она погонит столбом эти мириады пылинок, не спрашивая, что каждая из них думает или хочет. Все закрутится в урагане, когда поднимется эта сила, столь же слепая и столь же неумолимая, как и всякая сила природы. Мелкое и великое, умное и глупое, ученое и невежественное – все равно охватит одна могучая сила. Волей или неволей все покорятся ей, но одних она сотрет, а других возвысит. Все посторонится в эти минуты, и во всем явится сам народ: ему прежде всех победа или поражение, ему прежде всех слава или позор; он сам в эти торжественные минуты заявляет свое существование, решает свои судьбы, творит свою историю. Но все, что есть лучшего в отдельных людях, все энергическое и разумное, все возвышенное и святое выразится в его порыве и дает ему физиономию. Благо тому, чья мысль и чувство совпадает в один тон с народным влечением, в ком народная сила найдет свой разум и свою волю, кто послужит ей живым и сознательным органом, – благо тому! Но та же сила повлечет бессознательно и тех из нас, кто и не хотел бы, повлечет, не справляясь о наших мнениях; заодно стукнет и чистый, и нечистый

> грош, заодно прольется и благородная, и подлая кровь. Торжественны, но и грозны бывают эти явления народа. Напрашиваться на них не должно; но надобно также помнить, что с этих явлений ведет свое летосчисление история, что тут полагаются эпохи, что тут решаются судьбы всемирного хода событий» [11, с. 32–33].

Случайно ли, что в том самом году, когда были опубликованы эти строки, Толстой приступит к работе над романом «Война и мир», публикация которого начнется в том же «Русском вестнике»?

Но возвратимся к программной статье 1839 года о «Русских песнях». Начало истории русского народа, следуя принципу шеллингианской космогонии, Катков усматривает в центробежном движении, которым характеризовалась удельная Русь, Russia divisa, как назвал ее Шлецер. Этот этап творческого превращения тождества во множество и его распространения, кладущего начало универсуму, и рисует величественную картину цен*тробежного движения русской истории* от первоначального недолгого единства при первых Рюриковичах до предельной раздробленности, в которой русский народ предстает как первотворец и первожертва, рассекающий себя на части.

> «Различные коренные элементы, из которых после организовалось государственное тело России, в мгновенном соединении ознакомились друг с другом, вгляделись друг другу в лицо, чтобы после узнать друг друга, и разошлись, не утратив, однако, чувства своего единства, заключавшегося для них в общем центре. Как ни дробились, как далеко ни находились они, этот общий центр никогда совершенно не терял своей притягательной силы. Великое княжество или непосредственно, как высшая сила, или косвенно, как цель стремлений, как игрушка честолюбия удельных князей, было этим центром… Все назначение сил Руси в продолжение этого смутного периода, по-видимому, состояло только в том, чтобы без всякой определенной цели взаимно гнать друг друга и разбегаться по пространству, чем дальше, тем лучше; все назначение народа заключалось в ужасной необходимости разрывать себя на части и разбрасывать свои члены во все стороны, чем дальше, тем лучше…
>
> Когда же наконец народ свершил по этому направлению все нужное, когда он занял огромную часть того пространства, которое зовется теперь Европейскою Россиею, когда клуб сил народа размотался до истощения, тогда это разбежное движение должно было прекратиться и смениться новым направлением... Еще один шаг – и народ достиг бы до последней крайности, и это эксцентрическое движение погубило бы Русь...» [1, с. 112–113].

Если бы центробежное движение не сменилось бы центростремительным, то «разбросанные члены народы разъединились бы навеки; каждый из них сосредоточился бы сам в себе и стал бы жить своею собственною жизнию, подобно частям рассеченного полипа…» [1, с. 113]. А если бы после подобного расторжения русские элементы снова соединились бы, то «их сплавила бы не родная кровь: их связал бы чуждый цемент, и это целое не было бы выражением сущности русского народа, не было бы Русью» [1, с. 113]. По всей видимости, под таким «чуждым цементом» вместо родной крови, который мог бы связать русские земли, подразумевается здесь Литва.

На смену центробежному дроблению приходит центростремительное движение, проявление *магнетизма* как одного из ключевых понятий шеллингианской натурфилософии. Монгольское нашествие прерывает разбегание Руси, искусственно ограничивает его, а явившееся вместе с тем сердце России – Москва, запускает процесс магнетического стягивания силы и власти.

> «От монгольского ига встрепенулось и обнаружилось сердце Руси, боль отозвалась в нем, и кровь вдруг, сначала неровно и бурно, хлынула к нему. Это сердце, дотоле таинственно крывшееся, это сердце – Москва. Магнетическая сила сердца волею или неволею начала привлекать к себе, или, лучше, совокуплять в организм растерзанные члены, – прибегает Катков буквально ко всем доступным образам шеллингианской натурфилософии. – Все больше и больше, все могущественнее и ровнее текла по возникшим и ежечасно укреплявшимся жилам кровь к средоточию своего обращения, перерабатывалась в нем в жизненную теплоту, которая, в свою очередь, все с большею силою струилась к периферии и оживляла охладевшие члены. Период монгольского ига справедливо называется периодом усиления Москвы. И чем больше усиливалась Москва, тем все больше и больше ржавили монгольские цепи, – оне, наконец, перержавели и спали сами собою. Иоанну III не стояло никакого усилия освободиться от ига: он сбросил его с себя, как сбрасывают ветхую и уж ненужную одежду» [1, с. 114].

Позднее, в августе 1865 года, по случаю приезда императора в Москву Катков охарактеризует «принцип Москвы» еще более определенно.

> «Москва не есть просто город; не кирпич и известь ее домов, не люди, в ней живущие, составляют ее сущность. Москва есть историческое начало, Москва есть принцип. Люди переменяются, как непрерывно переменяются частицы живущего тела; переменяются люди, переменяются и нравы, и порядки. Но остается дух места, остается историческое начало. Москва, Кремль с его соборами, старые терема ее царей и это Красное Крыльцо, по ступеням которого сходили столько событий, решавших судьбу Русской земли: все это имеет свою силу, все это известным образом настраивает, все это в известном смысле обязывает. Единство и независимость Русского государства во что бы то ни стало и ценой каких бы то ни было жертв и усилий, – вот Москва, вот ее значение в русской истории, вот то начало, которое ею знаменуется и в ней воплощается. Сказать: Москва – значит сказать: русская держава нераздельна и едина, значит сказать: русский престол есть неотъемлемое и нераздельное достояние русского народа и составляет одно с ним. Есть другие интересы, другие исторические начала, другие идеи; но Москва есть то, что она есть, и начало, ею представляемое, не заменимо никаким другим» [18, с. 242].

Здесь Катков решительно отделяется от большинства западников, смотревших на Москву как на «татарщину» и прославлявших древний Киев и вольный Новгород, и сближается с будущими оппонентами – славянофилами с тем, однако, отличием, что для славянофилов Москва – центр самобытной цивилизации и оригинальной культуры и быта, в то время как для Каткова ни цивилизация, ни быт Москвы никакого значения не имеют, зато он ценит в ней сердце рождающегося молодого национального государства, которому суждено будет войти в европейскую систему, чтобы в рамках ее цивилизации выработать свою европейского образца культуру.

Размышление о «Русских песнях» подходит у Каткова к настоящему гимну русской истории, выработавшей такой оригинальный и значительный исторический феномен как Русское государство по своей жизненности и «силе ассимилирования» (обратим внимание на этот термин) превосходящей Рим.

> «Кто же после этого скажет, что жизнь русского народа была бесплодна? Кто будет жаловаться, что он во все время своего продолжительного существования ничего не совершил, ничего не породил? Но разве легко было выработать этот организм, перед которым мы остановились теперь в благоговей-

> ном изумлении? Разве ничего не значило породить эту неодолимо мощную и внутри и вне, эту необъятную монархию? Разве эта монархия не свидетельствует о дивной силе народа, ее создавшего? Какое государство, укажите, может сравниться с нею по объему и могуществу, и по изумительной силе ассимилирования? Не Рим ли, это отвлеченное, мертвое единство частей, не знавших и не хотевших знать друг друга? Но и самый Рим – разве не дорогою ценою купил он всемирное владычество, разве не вся жизнь его была приготовлением к этому владычеству? разве страницы его истории не так же мрачны? И какая бесконечная разница: Рим, который в продолжение всего своего развития готовился к смерти, Рим, который, достигнув апогея, начал жить, – и Русь, которая беспрерывною борьбою с смертию достигла торжественной великой жизни, Русь, которая начала тогда жить всею полнотою свежих сил, когда стала на вершину необоримого могущества!..» [1, с. 115].

Молодой Катков формулирует совершенно шеллингианскую по своей структуре русскую историософию, состоящую из «Илиады» центробежного удельного периода и «Одиссеи» центростремительного московского, из разбегания с целью максимального распространения и собирания в органическое политическое единство.

Тот же прием он применяет и к анализу уже не государственности, а самой русской цивилизации, предлагая довольно оригинальную концепцию русской культуры, основанную на *разливе* и *разбегании*, как на основном аффекте русской души, связанном с постоянным ощущением безотчетного недовольства.

> «Загнанная внутрь самой себя горькою, злою действительностию, вся сосредоточенная в безнадежном чувстве уныния, русская душа вдруг приходила в судорожное потрясение, разрывала поглощавшее ее чувство, выбивалась из самой себя, с неодолимою силою разбегалась во все стороны, низвергая и уничтожая все встречное, разливалась и терялась в бесконечности пустого пространства. Ничто не было сильно удержать этот могучий разлив… Не будучи в силах представить себе содержания исполинского могущества, которое впоследствии должен был наполнить ее дух, она вся предавалась ощущению отвлеченного, чисто формального могущества и упивалась им, не переводя дыхания. Вот значение того, что мы обыкновенно зовем разгулом русской души, которая тешится своими силами, разрывая ими мелочные путы тесного быта, и, не направляя их ни на что, разливается в них чем дальше, тем лучше» [1, с. 118, 121–122].
>
> «Русский человек, задыхаясь в тесноте своего домашнего быта, измученный борьбою, беспрерывно теснимый извне, бросал все, осуждал себя на добровольное изгнание из общества, убегал с кистенем или ножом в лес или на Волгу и из ней на море и там становился вольным казаком и разбойником» [1, с. 156].

Манифестом русского разгула является мир русского былинного эпоса. «Это мір, созданный из русского разгула, заселенный русским разгулом, живущий разгулом, и в то же время это мір органических, сосредоточенных и крепко в себе замкнутых форм; это мір, в котором все бежит, и льется, и разливается вдаль и в котором, однако ж, все имеет живой образ на себе и центр внутри себя» [1, с. 134].

> «Сущность понятия “богатырь” есть сила… все движение его силы заключается только в стремлении из себя наружу, в стремлении разбежаться, что духа есть, и раскинуться на вольном просторе, *чем дальше, тем лучше.* Формою проявления такой силы должно быть удальство и искание приключений. Удальство ведет за собою потребность оценки и славы. Оценять может толь-

ко подобный подобного; отсюда множественность богатырей, отсюда также и потребность их сближения, необходимость точки, на которой они могли бы сталкиваться, средоточия.

Это средоточие не должно быть ничем иным, как только средоточием; вся цель его должна заключаться только в том, чтобы принимать в себя и выпускать из себя радиусы. И потому Владимир не отличен никакою силою, он только собирает вокруг себя богатырей, угощает их, пирует с ними, назначает им подвиги, указывает только им дороги для удалых разъездов; сам же не действует… Если богатыри служат Владимиру, то служат так, добровольно, а не по сознанию какого-нибудь долга. Владимир тешит их, потворствует им и в случае нужды единственное орудие против них находит в них же самих. Часто также приходится ему смотреть сквозь пальцы и нередко окарач ползти... Довольно этих намеков, хотя нам и жаль, что мы не вправе и не обязаны распространяться дальше и подробнее развить наши мысли» [1, с. 143–144].

Князь Владимир эпического времени очевидно не самодержавен, и в этом тот «намек», о котором не хочет распространяться перед николаевской цензурой молодой Катков, это та причина, по которой столь многие участники общественного движения в России XIX века с неприязнью относясь к московскому периоду, столь симпатизировали периоду киевскому. Остается пожалеть, что Катков не углубил образа и не привлек в качестве аналогии очевидное подобие русским богатырским былинам – британский эпос о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Здесь метафора кругового движения вокруг центра, принимающего и испускающего из себя радиусы, приобрела бы прямо-таки дубовую весомость.

Но вот разрозненная богатырская сила русского эпоса концентрируется в одном лице, в одной фигуре – царе, собирателе власти, Иоанне Грозном.

«Русь, начавшая себя чувствовать цельным организмом, перестает уже дробить свой идеал и выражать его в целости многих отдельных лиц: она сосредоточивает и совокупляет его весь – в одном лице великого монарха. Она собрала всю свою силу, которую прежде фантазия разливала в подвигах богатырей, в новогородском вольничанье, в удальстве, и влила ее всю в одного человека и любовалась ею во всех действиях этого человека... Перестав быть силою физическою и сосредоточившись из удалого разгула, она засверкала духовным огнем в очах властелина: она стала сердцем царевым.

Но так как организм Руси не приял еще в себя своей доли из духа всемирно-исторического, так как Иоанн не был сам Петром, а был только предтечею Петра, то и сила его, хотя уже и сосредоточенная, не приняла еще своего средостремительного направления и оставалась в прежней неопределенности. Оттого и огонь, горевший во взорах Иоанна, палил и жег, а не грел; оттого и сила его обнаруживалась не во всеобъемлющей благости, а прорывалась разрушительной грозою» [1, с. 149–150].

В первом же своем крупном произведении, своего рода политическом и философском манифесте, написанном в 1839 году, Катков проявляет себя как последовательный шеллингианец. Его философия русской истории строится на противоборстве центробежного и сменяющего его центростремительного движения, на «магнетическом» понимании собирания власти, на параллелизме внешней и внутренней центростремительной работы, первая, – строение государства, – уже завершена, а вторая еще только предстоит.

Ни о каком «переходе от Гегеля к Шеллингу» применительно к Каткову говорить не приходится. Катков был шеллингианцем по картине мира с самого начала своей писатель-

ской карьеры, и обсуждать можно лишь изменения в степени его владения философским методом, материалом Шеллингова учения и особенности применения этого учения к политическому анализу.

В целом же сформулированная в статье о народных песнях шеллингианская интерпретация русской истории останется для Каткова доктринальной основой на протяжение всего его творчества. Образ «силы, так тяжко и так медленно слагавшейся в северо-восточных пустынях Европы» [10, с. 18], стягивающей все разрозненные элементы силы в целокупное могущество, чтобы от внешней государственной мощи перейти к внутреннему творческому росту, кочует из одной катковской статьи в другую.

На охране государственного «яйца»

В 1850-х годах Катков был далек от безусловной апологии централизованного государственного единства. Впечатления последних лет николаевского царствования, когда Михаил Никифорович лишился кафедры философии в Московском университете, не оставили его, как свидетельствует Е.М. Феоктистов, даже в «реакционные» 1880-е годы: «“Если бы император Николай восторжествовал, – говорил он, – то трудно и представить себе, что сделалось бы с ним; он уподобился бы Навуходоносору, – вышел бы в Летний сад и стал бы щипать траву...”. И всегда впоследствии Катков отзывался с негодованием о николаевском режиме. Помню, что уже в восьмидесятых годах на обеде у И.Д. Делянова некоторые лица, с пресловутым князем Мещерским (“Гражданином”) во главе, вздумали доказывать, что Николай был великий человек. Михаил Никифорович очень горячо и убедительно утверждал, напротив, что именно его и следует считать одним из главных виновников нашего нигилизма» [60, с. 106].

Эта неприязнь к подавляющему все «Единому», несомненно подкрепляемая идеями ставшего более «плюралистичным» позднего Шеллинга, сквозит в опубликованных в 1851 году «Очерках древнейшего периода греческой философии» [2], пронизанных плохо скрываемой антипатией к онтологическому унитаризму элейской школы, представительницы «дорического» начала.

Задолго до Ницше русский философ усматривает в древней Элладе борьбу двух начал, двух стихий духа: *дорийской* связанной с предпочтением настоящего, неподвижности, консерватизма, аполлонического начала, порождающей такие явления, как пифагореизм и элейская школа с ее учением о Едином, и политически воплощенной в застывшей в вечном настоящем Спарте, и *ионийской*, связанной с развитием, движением, стремлением к новизне, дионисизмом и дающей ионическую натурфилософию от Фалеса через Гераклита до Демокрита, политически воплощенной в сосредотачивающих в себе живое консервативно-прогрессивное развитие Афинах (в которых трудно не узнать опрокинутую в прошлое проекцию Англии).

В борьбе и взаимообогащении этих двух начал Катков видит движение эллинской мысли, которую старается не дробить на фрагменты, а напротив – подняться до осмысления ее как целого. Философ предпринимает весьма оригинальную попытку рассмотреть воззрения досократиков как моменты развития единой мысли и единой доктрины. «Стоит только взглянуть одним взглядом на весь этот фрагментарный период, и фрагменты сложатся сами собой для образования цельного смысла» [2, с. 168].

Этот цельный смысл, если к нему внимательно присмотреться, окажется философией Шеллинга с особым влиянием «философии мифологии», а воззрения философов-досократиков начиная от Орфея и Пифагора и заканчивая радикальным защитником индивидуации Демокритом – отражением разных моментов движения от тождества к множеству.

Опираясь на космогоническое учение орфиков, элеатов и Эмпедокла, Катков излагает своего рода космогонический миф, который также найдет отражение и в его политическом учении.

Начальный момент бытия космоса – это яйцо, то есть предмет с твердой скорлупой и текучим хаотичным внутренним содержанием. Именно такое яйцо становится началом космоса у орфиков: «Каждое устремилось к центру целого рода под влиянием облежащего духа… Собралось нечто как бы пузырь, образовалось нечто подобное яйцу» [2, с. 261].

Это не подлинное единство в многообразии, столь ценимое шеллингианством. «Безграничное распавшееся бытие определяется и как бы стягивается в один космос. Но этот космос кроет внутри себя лишь хаотическое брожение; определенность, объявшая его, есть чисто внешняя… Многообразное бытие, запечатленное внешним напряженным единством, скрыто во мраке. Мысль не усматривает живого разнообразного космоса; связанная этим внешним всепоглощающим единством, она отказывается понять движение и жизнь» [2, с. 261].

Образ государственной России, достигшей государственного единства, но еще не породившей из себя подлинного разнообразия жизни культурного творчества, постоянно возникающий в публицистике Каткова, прямо отсылает к этому первоначальному «космическому яйцу».

Позднее о том же внешнем сковывающем многообразие единстве, «однородном бытии», Катков говорит, касаясь «реакционного» (по отношению к плюрализму ионийских натурфилософов) учения элеатов. Господствующее понятие элеатов о едином, на взгляд Каткова, «соответствует тому, что в представлениях орфических является под видом космического яйца… Это тот… пузырь, в котором стягивается и удерживается развитие космоса. Это то самое единство, которое объемлет возникающее разнообразие и как бы поглощает его» [2, с. 296].

Бытие у элеатов предстает взятым «со стороны того единства, которое держит вместе и нейтрализует множественность, стремящуюся выйти в свет» [2, с. 297]. Здесь уместно вспомнить указания исследователей античной мысли на непременный параллелизм космоса и полиса в эллинском мышлении, применение к космосу политических терминов. «Сущее неподвижно в пределах своих великих уз», – говорит Парменид. «Закон не ослабляет связей, держащих бытие и не дозволяющих ему изменяться». «Сильная необходимость держит бытие в цепях предела и сжимает его со всех сторон» [2, с. 297]. Парменид «противна сила происхождения вещей, и он с омерзением говорит об ее действиях» [2, с. 299].

Движение же к богатому и разнообразному космосу Катков находит у философов ионийского направления. Своего рода Шеллингом древности у Каткова предстает Гераклит с его учением о конкретности Бога: «Единое мудрое не хочет называться единым, но хочет имени Зевса». «В Зевсе для геллена виделось все совершенство и вся полнота жизненных и положительных атрибутов верховного существа. Имя Зевса… имеет значение этого живого в противуположность тому чисто отрицательному монисму, провозглашенному элеатами» [2, с. 199].

В системе Эмпедокла Катков усматривает «разрешение космической сферы и выделение разнообразного бытия природы» [2, с. 301]. У этого философа он находит почти современное учение о развитии. А в идеях Анаксагора он усматривает картину того, как единство под влиянием высшего разумного начала «размыкается и становится источником живого разнообразия природы» [2, с. 309]. Этот Анаксагоров ум – начало самодержавное, самовладеющее, не смешанное ни с чем. «Ум же бесконечен, самодержавен и не смешан ни с одной вещью», – цитирует Катков фрагменты Анаксагора [2, с. 312].

Здесь мы нащупываем метафизическую предпосылку воззрения «Московских ведомостей» на самодержавие как на высшую нейтральную по отношению к сословиям и

партиям силу, позволяющую одновременно сохранять единство и содействовать осуществлению многообразия.

С началом эпохи реформ Катков еще какое-то время остается защитником политического плюрализма и категорическим критиком централизации, политического монизма, веры в государство как орудие осуществления социальных целей и положительного общественного идеала. Он будет конфликтовать с единомышленниками, выражавшими в гораздо более умеренной форме те же воззрения, которые Катков в последние годы жизни доведет до крайности.

В 1857 году Б.Н. Чичерин написал критическую рецензию на «Старый порядок и революцию» Токвиля, в которой взял под защиту французскую государственную централизацию в противоположность английской традиционной свободе [62]. Катков, находившийся на пике своей англомании и либерализма, категорически отказался ее напечатать. Этот конфликт привел к разрыву Чичерина с «Русским вестником» и дальнейшей все возраставшей враждебности знаменитого правоведа к Каткову.

В письме Каткова, приводимом Чичериным в воспоминаниях, Михаил Никифорович предстает защитником либерального взгляда на государство, которое должно выступать лишь сторожем при дверях свободы. Государству ни в коем случае не следует поддаваться соблазну быть историческим деятелем, предоставив все действие силе общества. «Нельзя оправдать теоретически стремления поставить государство во главе всего» [63, с. 282]. Катков иронизирует над верой тех, кто видит в государственной централизации инструмент общественного блага, что «стоит человеку окунуться в казну из него непременно выйдет существо по образу и подобию Божию, чиновник во всей форме» [63, с. 281].

Однако и здесь, на пике своего либерализма, Катков представляет себе сам процесс собирания государства наподобие шеллингианского магнетизма, ни в коем случае не отрекаясь от своей изначальной «центростремительной» картины русской истории.

Государство стягивает к себе всю силу, разрушает любые альтернативные источники власти и господства, с тем чтобы освободить человека от любых видов рабства – лицам ли, организациям ли или «государствам в государстве» феодального, сепаратистского или какого-то еще свойства. Централизация, по мнению Каткова, «имеет только одно законное значение – поскольку она служит ничем иным, как установлением в стране единого государства... Status in statu [государство в государстве – *Е.Х.*] терпим быть не может... Истинное назначение централизации собрать воедино, под замок и печать, всю фактическую, внешнюю, принудительную силу; подчинить кесарю все кесарево, но отнюдь не отдать кесарю то, что никак принадлежать ему не может, отнюдь не затем собрать эту силу, чтобы воспользоваться ею для порабощения всех прочих начал человеческого мира» [63, с. 281].

В русской истории процесс собирания государства абсолютно главенствует над остальными. «Привыкнув следить в Русской истории за единственным в ней жизненным интересом, – собиранием государства невольно отвыкаешь брать в расчет все прочее, невольно пристращаешься к диктатуре и, при всем уважении к истории, теряешь в нее веру» [63, с. 280].

Однако в публицистике 1860-х годов акцент государственных воззрений смещается. Если раньше Катков больше уделял внимания тому, чтобы первоначальное тождество смогло разрешиться в множество, то теперь он более озабочен тем, чтобы под влиянием революционно-нигилистических и мятежно-сепаратистских сил тождество не разбилось. Прежде внимание было тому, чтобы из-под тонкой скорлупы космического яйца вылупился цыпленок и превратился в прекрасного сильного и свободного орла, теперь у Каткова появляется опасение, что тонкие стены скорлупы не выдержат, а яйцо попросту разобьется всмятку. Это опасение вынуждает утонченного шеллингианца все более последовательно и односторонне превращаться в государственного публициста.

Собирание государства в публицистике Каткова с начала 1860-х годов предстает уже не только как негативное условие свободы, выражающееся в уничтожении всех поработительных сил, но и как положительный инструмент осуществления этой свободы, а суровая тягостность русской истории рассматривается как прелюдия к грядущему творческому самораскрытию. Территориальная обширность и небывалая государственная мощь – это своего рода знак, внешнее провозвестие необычайного внутреннего расцвета в грядущем. И наступление на них, расчленение России, недопустимы и немыслимы.

> «Русская территория по своим естественным условиям не может не быть громадна; она не может служить поприщем для самостоятельной и сильной государственной жизни иначе как в тех размерах, которые были намечены с точностью при самом рождении русского государства… До такой степени нынешние границы русского государства необходимы ему, что оно до тех пор не могло успокоиться и войти в себя, пока не приобрело или не возвратило их себе, пока не восстановило целости своей земли, предназначенной ему Провидением.
>
> Вся энергия народа, весь разум его правительства, весь гений его государственных деятелей были направлены к этому необходимому результату, достижение которого должно было предшествовать развитию гражданственности, свободы и всех искусств мира. Только с восстановлением своих естественных границ и, стало быть, с занятием всего огромного протяжения своей территории русское государство могло успокоиться, замириться и открыть возможность для свободного развития человеческой жизни» [16, с. 169–170].

Критикуя сепаратистские теории раздробления России и превращения ее в монархическую конфедерацию «двадцати народов», с которыми под псевдонимом Шедо-Ферроти выступал агент антинациональной партии в России барон Фиркс, Катков снова обращается к образу русской истории как центростремительного движения, нацеленного на создание необычайного государственного могущества.

> «В чем состоял смысл неугомонных движений наших князей в эпоху киевской Руси? В чем смысл той великой, почти беспримерной колонизационной силы, которую обнаружил наш Новгород? Чего добивалась, о чем с такими усилиями заботилась Москва с тех пор, как в ней сосредоточилась жизненная сила русского государства после понесенного им разгрома? Не в собирании ли русской земли заключалось все призвание Москвы? Из чего она билась и с Ливонским орденом, и с польской Речью Посполитой? На что было положено столько труда, для чего было пролито столько крови? Что придает колоссальное величие и силу образу Петра, и что мирит русский народ с жестокостью и насилием его преобразований? Не то ли, что он восстановил нашу связь с Западом, что он добился до некоторых из наших западных окраин, что он добрался до русского моря, что он положил начало восстановлению Руси в ее западных границах? Не то ли придало бессмертный блеск царствованию Екатерины и что она довершила начатое Петром и приблизительно восстановила первоначальную грань русской земли в ее протяжении на запад, и что она овладела другим русским морем? И вот теперь, когда это великое многотрудное дело стольких веков, стольких усилий, стольких жертв совершилось, – нам говорят, что русская земля через меру обширна, что мы обязаны отречься от нашей истории, признать ее ложью и призраком и принять все зависящие от нас меры, чтобы обратить в ничто великий результат, добытый тяжким трудом стольких поколений. Нам говорят, что именно теперь, когда первая часть нашего исторического дела совершена и когда вследствие того

> для нашей народности открывается новый период существования, в который нам предстоит оправдать труд наших предков и достойно воспользоваться его плодами, – нам говорят, что обширное протяжение русской территории и тягостно и неудобно и что оно должно быть снова раздроблено, – раздроблено de gaiete de coeur [с легким сердцем (фр.)], раздроблено нашими собственными руками; нам говорят, что с нашей стороны и невеликодушно, и нелиберально занимать столь большое пространство; нам говорят, что мы должны возгнушаться громадностью нашей государственной области, что мы должны отделить от нее преимущественно ее западные окраины, возвращение которых стало так дорого, возвращение которых составляет весь смысл и московского, и петербургского периода нашей истории» [16, т. 2, с. 170].

Польский мятеж 1863 года, как и подрывные выступления революционеров, особенно ненавистны Каткову именно тем, что они заставляют государство откладывать реформы, ограничивать свободу и ставят народ вновь на грань выживания вместо творческого развития.

> «Какое русское сердце не содрогнется и не сожмется болезненно при одной мысли, не говорим – о разрушении, а только о сериозной опасности, которая стала бы грозить делу тысячелетней, исполненной тяжких трудов, лишений и испытаний исторической жизни русского народа? До сих пор почти все, чем может дорожить живой народ, приносилось в жертву одному великому делу – делу собирания Русской земли в одно целое, делу созидания этого громадного государственного тела: проливались для этой цели потоки крови, гибли целые поколения; для укрепления единой государственной власти народ отказывался от всех своих прав и вольностей, одушевляемый инстинктивною верой, что за собиранием земли Русской не замедлит последовать созидание ее внутреннего благосостояния путем развития свободы, столь свойственной нашему народному быту. И вдруг все это великое многотрудное дело должно поколебаться, должно подвергнуться опасности, и водворение внутреннего благосостояния и законной свободы должно снова отодвинуться, и снова должны заговорить инстинкты самосохранения» [10, с. 25].

Каткова возмущает сама мысль о том, что Польше могут быть предоставлены в составе Империи привилегии, мало того, большая степень конституционной свободы по сравнению с русскими, которые вытянули многосотлетнее государственное тягло, положив большую часть своей души на алтарь государственного могущества.

> «Статочное ли дело, чтоб из двух соединенных народностей одна, и именно завоеванная, пользовалась большими льготами, чем другая, и именно главная и господствующая? <…> Возможное ли дело, чтобы льготы давались побежденным в ущерб победителям? Народ, утративший свою свободу, потому что не умел ею пользоваться, получит преимущество перед народом, который с беспримерным самопожертвованием понес все тягости для утверждения своего государственного единства, который в своей истории ни разу не пошатнулся и все, чем пользуется, купил не браками, как Австрия, а кровью и потом. Народ, который с Божьей помощью одолел всех своих врагов, должен стать подножием своему побежденному сопернику...» [11, с. 35].

Взгляду Каткова на русскую историю присуще своего рода преувеличение страдательного в ней начала. Если для славянофилов характерна радость от уже существующей русской культуры, в особенности культуры народной, культуры древней, то для западника Каткова их, по сути, не существует. «Все силы русского народа главным образом шли до сих пор на утверждение единства Русского государства, уже давно получившего всемир-

ное значение. В деле образования, в деле наук, искусств, литературы и общественного развития наша цивилизация, конечно, не может выдерживать никакого сравнения с старыми европейскими нациями», – утверждает он, впрочем, тут же оговариваясь, что даже в этой ситуации русской цивилизации нечего опасаться сравнения с незначительной польской [12, с. 58].

Русский народ, по Каткову, живет «свирепствуя и мучась», но не радуясь, как бы откладывая радость на потом, когда создание небывалого в мире могущества позволит раскрыться и невиданной прежде свободе. Пока же он приносит любые жертвы своему государству. И, конечно, русские не могут ослабить своей государственности в ту пору, «когда, наконец, должно постепенно раскрыться все разнообразие элементов, содержимых и ограждаемых Русским государством, и этот таинственный незнакомец, народ русский, доселе безмолвный и невидимый, должен заговорить и явить себя міру» [12, с. 62].

От «зари свободы» к руссоистскому сверхцентрализму

В 1860-х годах учение о государственном единстве России как об условии подлинной свободы превращается в своеобразное знамя «школы Каткова», в которую входили не только составлявшие Коллективного Каткова сотрудники редакции «Московских ведомостей», но и выступавший в катковских изданиях solo «Иногородний обыватель» – Б.М. Маркевич, яркая звезда на литературном небосклоне эпохи[1]. Константин Леонтьев критически разбирая изображение Достоевским русского дворянства, даже построил ряд «Тургенев, Писемский, Толстой, Маркевич, Островский», назвав их писателями, которые «ясно и верно отражают русскую жизнь» [46, с. 691].

В переписке со своим близким другом А.К. Толстым Маркевич дает яркое изложение «катковской программы», защищая взгляд на русскую государственность как на условие русской же свободы:

«Что касается до эпохи[2], которая вас вдохновляет, то я чувствую к ней не

[1] Маркевич Болеслав Михайлович (1822–1884) – писатель, публицист и литературный критик. Автор «любовно-политических» антинигилистических романов «Марина из Алого рога» и трилогии: «Четверть века назад», «Перелом», «Бездна», пользовавшихся при жизни автора громадным успехом (тем более что в них изображались легко узнаваемые современниками лица) и сталкивавшихся с ожесточенным неприятием либеральной критикой. Крупный чиновник Министерства просвещения, камергер, член придворного кружка императрицы Марии Александровны. Заведуя петербургским отделением «Московских ведомостей», Маркевич был одним из важнейших агентов Каткова в Санкт-Петербурге, особенно велика его роль в осуществлении неофициальной связи между Катковым и шефом Третьего отделения «вице-императором» П.А. Шуваловым. В 1875 году карьера Маркевича была разрушена обвинением во взятке, полученной им при передаче «Санкт-Петербургских ведомостей» от либерала В.Ф. Корша банкиру Ф.П. Баймакову. Маркевич переуступил Баймакову свои притязания на издание газеты, за ежегодную субсидию в 5 тысяч рублей, закрепленную письменным соглашением, чем не только испортил свою репутацию, но и подвел Каткова, желавшего, чтобы газету издавал сам Маркевич. Ключевую роль в карьерном крахе Маркевича сыграл ожесточенный враг Каткова А.Л. Потапов, возглавивший Третье отделение в 1874 году после отставки Шувалова и проведший целую операцию, чтобы уничтожить ключевое звено в связке своих противников. «Потапов произвел обыск в квартире Маркевича и с уликою налицо доложил о поступке последнего Государю, который, говорят, хотел Маркевича отставить от службы и предать суду, но впоследствии смилостивился по ходатайству Толстого» [39, с. 480]. Маркевич был вынужден удалиться в фактическую ссылку в Галич, на должность мирового судьи, однако после отставки Потапова смог вернуться к столичной жизни и продолжал выступать в «Московских ведомостях» в качестве фельетониста, а в «Русском вестнике» как влиятельный беллетрист. «В то время, как из произведений Лескова, Писемского, Достоевского вымарывались десятки страниц из-за излишнего реализма, рукописи Маркевича воспроизводились с благоговейною точностью», – отмечал позднее В.Г. Авсеенко, отчасти соперничавший с Маркевичем во влиянии на журнал [цит. по: 64, с. 123].

[2] Древней Руси, которая вдохновила обсуждаемую в письме «Песню о Гаральде и Ярославне» А.К. Толстого – *Е.Х.*

меньшее влечение, нежели вы, к московскому же периоду ни вы, ни я, ни К. (это я могу доказать выдержками из его газеты) не питаем ни малейшей симпатии. Тем не менее нельзя отрицать историю и вот в этом-то духе мы и будем действовать…

Разница между нами та, что вы, мой друг, гадливо от нее отворачиваетесь, мы же решаемся смотреть ей прямо в лицо и в ее варварских, если хотите, чертах узнаем однакоже грубую, но мощную (этого вы не можете отрицать) силу, создавшую 80-ти миллионное государство, опираясь на которое джентльмен Александр I устоял против целой Европейской коалиции и вступил в Париж…

Почему же вы такому человеку как Катков, ясно отдающему себе отчет в своем призвании, вменяете в преступление, что он признает огромные заслуги московского периода в смысле объединения, а следовательно и величия России. А, раз вы признаете за ним право по достоинству ценить эти заслуги, вы должны согласиться и с тем, что всякое историческое прошлое вменяет в обязанность последующим поколениям продолжать то же дело и преследовать ту же цель. Этим делом, этой целью для нас теперь, как и в то время, «собирателей Русской Земли», является и будет являться лишь одно – это объединение государства. Катков не что иное как адвокат, защитник, представитель этого принципа, этого национального верования. В этом вся его сила, – сила до такой степени живая, что удержалась вопреки всем и всему и одна лишь в состоянии дать стране нашей ту цивилизацию, в недостатке которой вы нас упрекаете, так как цивилизация прежде всего состояние народов сплоченных изнутри и сильных извне» [48, с. 93–94].

По словам Маркевича, Катков «проповедует единый закон, единое управление, единый язык, на всем протяжении государства и требует от каждого подданного этого государства, какого бы ни был он происхождения, чтобы он считал себя прежде всего гражданином Русской Империи, а не Польши или какой-нибудь Terra Baltica… Иными словами он требует и проповедует лишь то (ни больше, ни меньше), чего хочет и требует Франция, Пруссия, Англия и Италия, словом, всякое европейское правительство, чувствующее свою силу и власть над подданными» [48, с. 94]. «Неужели же вы бы хотели, – риторически спрашивает Маркевич Толстого, – чтобы он стоял за Распадение России на 2, на 3, на 1000 частей, подобно тому, что творится в Австрии» [48, с. 94].

Сильная и единая, культурно однородная государственная Россия в рамках катковской доктрины, излагаемой Маркевичем, – это н*епременное условие политической свободы и цивилизации*. «Разве вы не согласны, что России, чтобы стать Европой, которой вы нас донимаете, нужна действительная свобода, существующая в Европе? А раз она нужна, как же вы не хотите понять того, что Россия никогда не достигнет этой свободы, пока несчастный вопрос об иностранных народностях не будет разрешен в смысле русской национальной идеи, представителем которой, опять-таки, является ненавистный вам Катков. Неужели вы не видите, что злейшие враги русской свободы те же поляки и немцы, считающие нас монголами и ставящие нас в разряд туранцев» [48, с. 95]. В другом письме Толстому Маркевич противопоставляет «зарю свободы», которая уже занимается, и «времена сатурналий Герцена и Чернышевского» [48, с. 106].

В Каткове писатель видит пророка истинного русского европеизма, который «говорит во всеуслышание, что мы не должны стыдиться быть русскими, потому что Россия – та же Европа, но для того, чтобы слово это не было пустым звуком, России надо быть прежде всего Россией, точно так же как Франция прежде всего Франция, Италия – Италия и т.д. Следовательно, Россия должна прежде всего понять свои интересы и радеть о них,

вопреки всяким посторонним соображениям, если таковые окажутся несовместимы с национальными интересами» [48, с. 96–97].

«Единые законы, единый язык, единое управление, как в центре, так и в окраинах, – вот цель, к которой должно стремиться, – восклицает Маркевич. – А чтобы достигнуть этой цели, будем прежде всего распространять цивилизацию у себя дома, дабы эти враждебные нам подданные русского Государя не могли более кичиться нравственным превосходством… Учредим у себя настоящую европейскую школу… Не будем тратить втрое больше денег, чтобы помогать остзейцам становиться немцами за счет русской казны, – нежели тратим мы на русские школы. Пусть лучше эти деньги возвращаются туда, откуда мы их берем, наш родной народ более в них нуждается, чем эти балтийцы с которыми ему приходится бороться. Если уж необходимо тратить часть наших кровных денег на поляков и немцев, то позаботимся, по крайней мере, о том, чтобы деньги эти шли на образование будущих русских, а не прусских или саксонских граждан» [48, с. 97–98].

В эпоху Александра III, эпоху «реакции и контрреформ», Катков не изменил своему взгляду на концентрацию государственной мощи как на условие свободы. Хотя в этот период обращение к идее государственной концентрации служит для него прежде всего обоснованием неприкосновенности самодержавия и необходимости ослабить либеральные корпорации, созданные в эпоху реформ, – земства, суды, автономные университеты, печать и т.д. Однако и это наступление на любые автономии в составе государства обосновывается Катковым именно необходимостью защиты подлинной свободы.

> «В чем состоит ход образования государства? Не в чем ином, как в собирании и сосредоточении власти, – излагает Катков свою государственную теорию. – Покоряются независимые владения, отбирается власть у сильных, и все, что имеет характер принудительный, подчиняется одному верховному над государством началу; дело не успокаивается, пока не водворяется в стране единовластие, покрывающее собой весь народ. Государство вооружено, но не против свободы, которая только в ограде его и возможна; оно вооружено против других государств как вне, так и внутри его. Власть по природе своей не может терпеть государств в государстве, и ее прямое назначение – пресекать и возбранять все, что имеет такой характер. Собирая и сосредоточивая власть, государство тем самым создает свободное общество. Власть над властями, верховная власть над всякой властью – вот начало свободы» [26, с. 438].

Сущность свободы Катков видит теперь в устранении всякой угрозы злоупотребления этой свободой. «Люди на общественных дорогах свободно ходят и ездят, и чем свободнее, тем лучше, но никому нельзя предоставить свободу бесчинствовать на улице и нападать на встречных. Охраняя общественные пути от физического насилия, не обязано ли то же правительство охранять общество и от насилий нравственных?» [26, с. 438].

Категорическое неприятие вызывает у Каткова идущее от Константина Аксакова славянофильское противопоставление Государства и Земли, на котором обосновывалась идея автономии «земского» общества. Он воспринимает такое противопоставление как архаичный пережиток (хотя на деле формула «дело государево и земское» восходит как раз к Москве XVI века) и противопоставляет этому дуализму шеллингианский холизм.

> «У нас часто говорят о земле в политическом смысле и землю противополагают государству. Но противоположность между землей и государством не выдерживает критики. Русская земля есть Русское государство, и Русское государство есть Русская земля. Это одно и то же, только с двух сторон взятое. И нельзя понимать так, что земля имеет свои интересы, отдельные от госу-

> дарства, а государство – свои... Это было бы не то что земля и государство, а как бы два государства, на которые разломилась бы страна… Не только никакого антагонизма, но ни малейшей розни не должно быть между интересами народа и интересами государства. Каждая местность в государстве есть живая часть его. Целое состоит в своих частях и части – в целом. Государство не может быть равнодушно к тому, как идут дела в бесчисленных местностях, его составляющих, как живется ячейкам его организма» [27, с. 445–446].

Доктрина Каткова приобретает к 1881 году следующую чеканную формулировку:

> «Из отдельных и мелких зачатков государства сложилось одно великое целое. Отдельные племена и населения слились в один народ, и Русская земля есть русское государство, а русское государство есть Русская земля. Между народом и государством не должно быть никакой розни. Русское государство есть государство русского народа. Всякая действующая власть среди народа, всякое право, соединенное с обязанностями для других, все вынудительное и обязательное (и стало быть, всякое управление) должно восходить к одной Верховной власти, к одному государственному началу, ему подчиняться и от него иметь силу. Обеспечивая существование народа среди других народов, государство имеет своей дальнейшей задачей обеспечение личной свободы. Государство исполняет свое назначение, когда каждому предоставляет свободу во всем, что касается его лично, и не только предоставляет, но могущественно ограждает личную свободу» [28, с. 451].

Итак, государство, по Каткову, – это могущественный властный организм, который, сокрушая все посредствующие власти, обеспечивает человеческую свободу, выражающуюся не в автономии от государства, а во всецелом холистическом слиянии с ним. «Они хотят даровать нам политические права, но у нас есть политические обязанности, а это больше… Напрасно нам сулят конституцию; мы уже имеем ее в нашей государственной присяге…» [29, с. 472].

Постойте, но это же до боли знакомая политическая конструкция, произведенная в совсем другом политическом лагере?! Коллективный суверен, соединяющий все элементы силы и власти в единой общей воле, которой невозможно противостоять и с которой и можно только слиться, в чем и будет состоять подлинная политическая свобода, – это доктрина, изложенная в «Общественном договоре» Руссо! Именно там прописана невозможность какой-либо частной воли противостоящей общей, какого-либо права, которое выше обязанности следовать коллективной воле.

> «Поскольку суверен образуется лишь из частных лиц, у него нет и не может быть таких интересов, которые противоречили бы интересам этих лиц; следовательно, верховная власть суверена нисколько не нуждается в поручителе перед подданными, ибо невозможно, чтобы организм захотел вредить всем своим членам; и мы увидим далее, что он не может причинять вред никому из них в отдельности. Суверен уже в силу того, что он существует, является всегда тем, чем он должен быть…
>
> Чтобы общественное соглашение не стало пустою формальностью, оно молчаливо включает в себя такое обязательство, которое одно только может дать силу другим обязательствам: если кто-либо откажется подчиниться общей воле, то он будет к этому принужден всем Организмом, а это означает не что иное, как то, что его силою принудят быть свободным» [31, с. 210–211].

Руссоистским же мотивом является у Каткова и неприятие каких-либо частных ассоциаций, групп и промежуточных властей, встающих между гражданином-подданным и государством.

> «Когда в ущерб основной ассоциации образуются сговоры, частичные ассоциации, то воля каждой из этих ассоциаций становится общею по отношению к ее членам и частною по отношению к Государству… Важно, следовательно, дабы получить выражение именно общей воли, чтобы в Государстве не было ни одного частичного сообщества и чтобы каждый гражданин высказывал только свое собственное мнение» [31, с. 219].

Переход позднего Каткова, отбросившего англоманию, к чистому руссоизму не случаен. Напротив, он предопределен его шеллингианством. Сам Шеллинг никогда не оставил собственной философии общества, сколько-нибудь сравнимой с философией истории и права Гегеля. Политическое шеллингианство выводится прежде всего из самих основ шеллингианской метафизики – всеединство, холизм, противоположение центростремительности и центробежности.

Но сама эта метафизика, может быть рассматриваема как перевод на абстрактный философский язык политического учения Руссо, на что прямо указывает в работе о Шеллинге В.В. Лазарев: «Речь об абсолютной воле есть пересказ социально-политических идей из “Общественного договора” Ж.-Ж. Руссо. То, что у Руссо названо волей суверена, или волей народа в целом, у Шеллинга переряжено в “абсолютную волю”» [72, с. 104]. Исследователь отмечает дальнейшую эволюцию в философии Шеллинга «абсолютной воли» во «вселенскую волю» божества.

Но если само шеллингианство является метафизическим и натурфилософским руссоизмом, то политическое шеллингианство обречено было на возвращение к руссоистским постулатам в той или иной форме, пусть в консервативно-монархической, а не революционно-якобинской.

Катков в конечном счете оказывается гораздо большим руссоистом, чем Шеллинг. Он трактует центростремительность и центробежность более ценностно определенно, чем немецкий философ. Если для позднего Шеллинга это одинаково необходимые моменты самораскрытия Абсолюта, то Катков берет на вооружение трактовку центробежности как греха, который под его пером превращается в *преступление*. Сущность этого метафизического преступления в расторжении бытия, разложении жизни и, наконец, в сепаратизме и измене. Напротив, центростремительность – это духовно высшее, «правильное» движение к единству и целостности, тождественное патриотическому порыву и государственному сознанию. Центростремительность есть добро, жизнь, государственность, патриотизм и свобода, центробежность – зло, смерть, сепаратизм, измена и рабство.

Разумеется, такая трактовка показалась бы позднему Шеллингу чрезмерным упрощением. Поскольку именно в центробежном движении Абсолют становится космосом, то односторонняя апология центростремительности будет грешить некоторым мироотрицанием. Не случайно в адрес Каткова раздавались обвинения в «белом нигилизме» [71].

Для Шеллинга чрезвычайно важен натурфилософский мотив полноценного развития вспомогательных органов, периферийности, конечностей, которое надлежаще возвышает центр. И напротив, символом зла у него предстает змей, природа которого в том, что у него не различены центр и периферия, и это означает, что он лишен центра и вынужден ползать на брюхе: «Полное развитие вспомогательных органов, которое достигает своей вершины в человеке, уже указывает на независимость воли от вожделений или на единственно подлинное здоровое отношение между центром и периферией: в нем центр отступил в свою свободу и рассудительность и отделился от того, что есть только оружие (периферийное). Напротив, там, где вспомогательные органы неразвиты или вообще отсутствуют, центр вступает в периферию и образуется лишенное центра кольцо» [33, с. 123]. Для позднего же Каткова централизм превращается в самодовлеющее начало.

Катков между Руссо и Берком

Ранее нам уже приходилось противопоставлять две консервативные интеллектуальные традиции, практически наравне проявляющие себя в XIX веке [84].

Первая – *беркианский исторический консерватизм*, присущий Адаму Генриху Мюллеру или Николаю Карамзину, ориентированный на идеал прогресса как накопления блага, не отбрасывающего предыдущие исторические ступени.

Вторая – *консервативный руссоизм*, характерный, к примеру, для Жозефа де Местра, Фредерика Ле Пле и К.П. Победоносцева, и рассматривающий в качестве сохраняемого блага некое первоначальное, интуитивное состояние человека, взирающий на историю, равно как и на любую другую человеческую активность как на ухудшение этой изначально данной природы.

На первый взгляд Катков, решительный и открытый, неоднократно декларировавший свои взгляды, – сторонник беркианского историцизма, один из самых последовательных в русской мысли. Не упоминая Берка, он, однако, прямо использует беркианскую формулу о нации как о партнерстве между ушедшими, живущими и будущими поколениями.

> «Народ – не стадо голов и не сумма голосов; он также не в одних только ныне живущих людях. В народе живет его прошедшее, в народе живет его будущее. Не в случайном настроении хотя бы миллионов людей, живущих на территории государства, не в сумме праздных да или нет, как бы ни была она громадна, заключается судьба государственной области, а в той действительной силе, которая определяет и держит ее» [12, с. 50].

Чрезвычайно последователен Катков и в защите «английской» формулы *консерватизма как прогресса*, исторического развития, удерживающего все позитивные результаты предшествующих эпох. Раскрытию катковского понятия консервативного прогресса посвящена обширная антинигилистическая статья «Кое-что о прогрессе» в октябрьской книге «Русского вестника» за 1861 год.

> «В разрушении ищите чего хотите, только не прогресса. Успех только там, где с приобретением нового не теряется прежде бывшее и вся сила прошедшего сохраняется в настоящем. Это равно относится и к отдельному человеку, и к народной жизни. Далеко ли уйдет развитие человека, если с каждым новым опытом он будет позабывать то, что узнал прежде, если с каждым новым фактом в его жизни будет разрушаться без следа, что сложилось в нем прежде? Станете ли вы богаче, если с каждым новым приобретением будете выбрасывать за окно, что добыли прежде? <…> Где совершается правильное и действительно прогрессивное развитие, там жизнь не теряет ни одного из своих существенных элементов…
>
> Народная жизнь тем прогрессивнее и тем богаче, чем менее совершалось в ней успешных насилий, чем менее происходило в ней действительных разрушений, чем менее, наконец, забывала она свое прошедшее. Всякое разрушение есть прямой вычет из ее прогресса… Историческая жизнь, переходя из одного положения в другое, часто изменяется неузнаваемо; но если в ней совершается успех, а не падение, то она не изменяет своей сущности, не теряет своих сил и берет с собою все, что было в ней прежде» [8, с. 8–9].

При этом антипрогрессизм, консервативный обскурантизм, вызывают у Каткова категорическое неприятие, что ярко проявляется в нападках на «Домашнюю беседу» Аскоченского. В этой критике «консервативного нигилизма» Катков, казалось бы, полагает между собой и характерным для консервативного руссоизма культом «простого человека»,

по сути «доброго дикаря», выдаваемого за носителя истинно православного начала, непреодолимую преграду.

> «Следуя логике этих людей, надобно думать, что человек тем лучше и тем ближе к истине, чем он скотоподобнее. Если, по их понятиям, исторический ход есть не что иное, как порча, возвращение к духу тьмы и зла, то, стало быть, человек, чуждый этому движению, менее испорчен и более удовлетворяет своему назначению. Дикарь, не знающий другого страха, кроме физического, других удовольствий, кроме материяльных, стало быть, ближе к христианству и православию, чем человек, признающий нравственные законы для своей деятельности и желающий видеть во всем какое-либо отношение к идеям разума? Возможно ли, чтобы такой взгляд был отличительный взгляд православия?.. Неужели в деспотиях Востока человечество живет ближе к православию? Неужели было бы лучше продолжать ему свое существование среди стихий и норм древнего міра?» [7, с. 383–385].

История для Каткова не путь изгнания человека из Рая, не апостасия, а, напротив, накопление положительного результата.

> «В истории господствует закон строгой постепенности, что идеи, которые вырабатываются в жизни исторических народов и исторических эпох, взаимно пополняют друг друга, что, взятые порознь, они могут быть односторонни и ошибочны, но что на своем месте и в своей мере каждая из них годна и даже необходима в общей экономии. Каждая эпоха имеет свои задачи, каждый день свою злобу… В наше время возросла общая сумма человеческой жизни, и, весьма естественно, вместе с суммою положительного и доброго в ней должна увеличиться сумма отрицательного и дурного. В прежние времена лишь немногие жили, а все остальное сливалось в безразличные и сплошные массы. Теперь с каждым поколением умножается число живущих, и из сплошной массы беспрерывно выделяются разнообразные личности, и каждая из них привносит свою долю доброго и свою неизбежную долю дурного. Но в общем яснее и решительнее обнаруживаются великие законы истории, ее смысл и пути Провидения» [7, с. 385–386].

Легендарная «англомания» Каткова напрямую связана с беркианским взглядом на Англию как на страну классического исторического консерватизма, как на страну, самоопределяющуюся через свое прошлое и удерживающую его во всей полноте и силе [90]. Как соотносились в этой англомании стремление подражать сути английских учреждений, их децентрализму, преобразованию в духе либерального общества древних феодальных форм, с одной стороны, и стремление подражать духу историзма, неподражательности, который характеризует английскую конституцию, – с другой?

Е.М. Феоктистов был уверен, что по крайней мере в период раннего «Русского вестника» Катков был англоманом в первом из этих смыслов. «Самоуправление дало пышный цвет на английской почве, – отсюда преклонение Михаила Никифоровича пред Англией, преклонение довольно странное почти на другой день после того, как в кровавой борьбе Англия явилась самым злым и непримиримым нашим врагом. Об увлечении Каткова в это время нельзя составить точного понятия по статьям, появившимся в его журнале; надо было слышать его в тесном круге приятелей; Францию, страну административной централизации, позволялось хулить сколько угодно, но Катков тщательно вычеркивал в статьях своих сотрудников всякие неблагоприятные отзывы об Англии из опасения, что отзывы эти могут подорвать веру и уважение к стране, внутреннее устройство коей должно служить образцом для России. Однажды Капустин в составленном им для какой-то книжки «Русского вестника» политическом обозрении отозвался не совсем похвально о том, как рас-

поряжался лорд Пальмерстон с какими-то африканскими царьками: Михаил Никифорович не вычеркнул этого места лишь после долгих колебаний» [60, с. 109].

При этом сам Катков говорит о духе английских учреждений прежде всего как о проявлении историзма. В 1881 году он настаивает, полемизируя с былым соратником по западническому лагерю, что «напрасно К.Д. Кавелин думает, что пишущий эти строки когда-нибудь предлагал их в образец для государственного устройства России. Правда, изо всех стран цивилизованной Европы для нас, как и для многих, Англия представляла всегда предмет особенно интересный в своем государственном устройстве. Но она интересовала нас историческим духом своих учреждений, в которых все выросло, и нет ничего по шаблону сделанного. Публицист, к которому г. Кавелин обращает свою речь, указывал на Англию, как на образец неподражательности политического быта, и, раскрывая органическую связь ее учреждений, выражал со всей энергией, к какой был только способен, желание, чтобы мы походили на нее самородностью своего развития и, стало быть, отнюдь не походили образом нашего устройства» [24, с. 411–412].

Для того чтобы установить истину в этом споре, можно прибегнуть к «проверочному тексту» – «Очеркам древнейшего периода греческой философии», опубликованным в 1851 году. В них, как мы уже указали выше, дается противопоставление консервативной, «аполлонической» дорийской Спарты, застывшей в вечном настоящем, и новаторских, «дионисийских» ионийских Афин, в которых трудно не узнать проекцию Англии в античное прошлое, сформированную выходившей как раз в эти годы «Историей Греции» английского политика-вига Джорджа Грота.

«Здесь происходила вся полнота гелленского развития в эпоху его цветения. Здесь решительно и ярко выявлялась всякая сила, всякое дело». Подвижность чрезвычайно характерна для Афин, но «едва ли в каком другом греческом обществе была так крепка сила прошедшего, сила противодействующая новому… бесчисленные нити преданий опутывали весь корень афинской жизни» [2, с. 205]. «Афинское устройство требовало времени для своего развития и развивалось постепенно, тогда как законодательство Спарты, совершенно напротив, установилось без всякого труда за один раз», – подчеркивает Катков [2, с. 205].

Таким образом «английский» историзм, прогрессивный консерватизм, оказывается ценностью для Каткова задолго до начала его публицистической деятельности, в виде ретроспективной проекции проявляется в, казалось бы, далеком по предмету историко-философском исследовании.

Катков предстает в своей публицистике как сторонник «беркианского» консерватизма с его опорой на историческое начало, с отождествлением традиции и прогресса, с защитой, соответственно, естественно сформировавшейся свободы, живых исторических привилегий, с отрицанием рационалистического конструирования общества, которое неизбежно приводит к принудительному эгалитаризму и тоталитаризму.

Как отмечает Роберт Нисбет, «именно консерваторы… остро реагируя на сочетание атомизма и политической централизации французского революционного государства при якобинцах первыми стали вновь придавать институтам семьи, местного сообщества, церкви, общественных классов, гильдий и другим видам промежуточных общественных объединений ту теоретическую значимость, которой они были лишены в рамках господствующего течения европейской мысли, начиная, по крайней мере, с Жана Бодена в конце XVI века» [50, с. 425].

В 1857 году в споре с Чичериным Катков определенно занимает сторону Токвиля. Самое неприемлемое для него в чичеринской критике «Старого порядка и революции» – последовательная апология правоведом рационалистического духа французской государственности, которой еще с королевских времен «при каждом жизненном столкновении…

выставляется учение, которое исторические начала разбивает началами рациональными…» [62, с. 179].

Каким же образом Катков смог, субъективно оставаясь в беркианской системе политических координат, объективно создать свою версию консервативного руссоизма, отличающуюся от победоносцевской тем, что «всеобщая воля» заключена для него не в инстинкте доброго дикаря, а во всеобщем самоотчуждении при формировании тоталитарного, по сути коллективного суверена – государства?

Своеобразный мостик между двумя системами интеллектуальных координат, в которых существовала мысль Каткова, – консервативно-беркианской и шеллингианско-руссоистской, можно обнаружить в статье 1862 года «К какой принадлежим мы партии?», в которой без видимых сбоев мысль публициста от первой системы переходит ко второй [9].

Катков утверждает, что «истинно прогрессивное направление должно быть, в сущности, консервативным, если только оно понимает свое назначение и действительно стремится к своей цели. Чем глубже преобразование, чем решительнее движение, тем крепче должно держаться общество тех начал, на которых оно основано и без которых прогресс обратится в воздушную игру теней» [9, с. 35]. Уничтожение важных элементов жизни является не прогрессом, но разрушением: «Все, что будет клониться к искоренению какого-нибудь существенного элемента жизни, должно быть противно прогрессивному направлению, если только оно понимает себя. Всякое улучшение происходит на основании существующего; этому учит нас природа во всех своих явлениях и формациях. Тот же закон господствует и в истории: всякое преобразование, всякое усовершенствование может происходить только на основании существующего с сохранением всех его сил, всех его значительных элементов» [9, с. 35].

До сих пор Катков держится в целом исторической точки зрения – предшествующие исторические достижения должны быть фундаментом последующих, а не отрицаться и не выбрасываться, – следуя в этом Берку.

Берк, как правило, говорит о свободной творческой энергии, накопление и управление которой в интересах общего блага и есть сущность хорошей политики. Электричество и магнетизм для него утилитарные силы в творческой мастерской истории. «Политик, дабы совершить великое, ищет силы – того, что наши механики именуют энергией… Уничтожение любой энергии, свободно произрастающей из творческих способностей человеческого ума, почти равносильно в сфере нравственной разрушению движущих свойств тел в сфере материальной. Это все равно что разрушить взрывчатую силу пороха, или силу пара, силу электричества или магнетизма…» [32, с. 245 -246].

История для английского консерватора в ее позитивном, творческом аспекте – это летопись славных *деяний* великих предков. Свобода имеет свою генеалогию. «Наша вольность становится благородной свободой… За нею стоит вереница блестящих предков. У них свои гербы, свои знамена, своя галерея фамильных портретов, свои надписи на монументах, хроники и титулы» [32, с. 101]. По сути, это осуществление призвания «человека, чья привилегия состоит в том, чтобы в значительной степени создавать самому себя» [32, с. 170].

Свойством деяния является его единичность и неповторимость. Нечто уже сделанное не «исторически случайно», а напротив - онтологически укоренено в том, что оно уже фактически состоялось и именно поэтому неотменимо. История - это те врата, через которые волюнтаристски конкретное проходит в вечность.

Пока Катков отстаивает состоятельность русской истории ссылкой на ее конкретность, на ее право существования в качестве уже сбывшегося, в качестве продукта трудной исторической борьбы, он полностью остается на почве «беркианского» исторического консерватизма. Однако как для последователя шеллинговой натурфилософии история для

Каткова, оказывается сочетанием не деяний, а природных элементов, каждый из которых должен быть поставлен на свое место, а попытка неорганичного «исключения» того или иного элемента приводит лишь к тому, что он появляется не на своем месте и в недолжных сочетаниях.

> «Общественное устройство не может по произволу отказываться от того или другого начала, которое требуется его нормой. Как во всяком развитии природы, так и во всяком историческом развитии есть известная сумма элементов, из которых оно слагается, так что при отсутствии того или другого из них оно вовсе невозможно, или невозможно в своем нормальном виде. Исключить какие-либо существенные начала из данного развития значит изменить сущность вещей, перепрыгнуть, как говорится в логике, из одного рода в другой; значит иметь в виду что-нибудь другое, а не то, о чем идет речь. Исключить из общественного развития какое-нибудь начало, которое служит одним из необходимых условий человеческого общества, значит обессилить общество, изуродовать его, подвергнуть его болезням тяжелым и опасным, от которых придется лечиться» [9, с. 35].

«Норма», «болезнь», «природа» – все это применительно к обществу элементы никак не беркианского, а натуралистического словаря, в котором история есть продолжение природы, а политика есть подразделение натурфилософии. Здесь появляется интеллектуальный туннель, которым Катков с беркианской переходит на консервативно-руссоистскую, а порой и просто на руссоистскую сторону.

> «Интерес прогресса состоит не в том, чтоб изгнать из общества то или другое начало: изгнанное в дверь, оно воротится в окно; напротив, задача состоит в том, чтобы каждому началу, без которого не может обойтись нормальное развитие общества, дать соответственное положение и силу, отвести его в должные пределы. Зло и вред заключаются не в том или другом элементе, а в неправильном положении, которое он занимает… Напрасно мы будем думать, что, подвергнув остракизму какое-нибудь общественное начало, неправильно действующее, мы освободим от него общество. Оно не исчезнет, оно не уничтожится: исчезнет только доля добра, а яд останется; оно явится в другом виде, под другим именем. Потеряв одно из существенных условий своего развития, общество получит его обратно, но как начало ему чуждое и враждебное, которое до тех пор будет его язвой и задержкой на всех путях, пока не будет признано, не будет замирено и не найдет себе надлежащего места» [9, с. 36].

Общество здесь у Каткова оказывается продуктом природы, а у его элементов есть должное или же недолжное в натуралистическом понимании место. Это же, в свою очередь, означает, что историческое является не следствием человеческих деяний, злодейств и подвигов, но раскрытием того, что было заложено в изначальном плане природы. Причем нарушения в этом плане, конечно, возможны, но именно в смысле искаженных и произвольных сочетаний заложенных природой элементов. В силах греховной человеческой воли поставить то или иное начало не на свое место, но не наоборот. Любое же благо связано исключительно с принудительной органической целесообразностью. Как замечательно емко сформулировал этот органический принцип Константин Леонтьев: «…оливка не смеет стать дубом, как дуб не смеет стать пальмой».

Катков 1862 года обрушивается на Каткова 1857 года в переписке с Чичериным мечтавшего вовсе покончить с государством в какой-либо роли, кроме роли ночного сторожа.

> «Лишь только мы представим себе, что государственное начало будет исключено, лишь только мы вообразим себе, что самостоятельная и отдельная орга-

> низация государственных властей исчезнет, как в тот же самый миг общество, по-видимому освобожденное от государства, утратит, напротив, значение свободного общества и во всем составе своем превратится в то самое начало, от которого думало освободиться; оно само будет государством, и государством тем худшим, что государство будет в нем все во всем, не давая ничему свободного существования и на все налагая свою печать. Что это не есть только теоретическое соображение, что действительно так бывает, в том удостоверяет нас история многими примерами. Возьмите древние республики, возьмите Соединенные Штаты. Если нет самостоятельной организации государственного начала, все общество принимает более или менее его характер; если не будет определенной государственной функции, то вся общественная жизнь по необходимости превратится в функцию; если не будет правильного суда и расправы, то явится закон Линча. Вырвите с корнем монархическое начало, оно возвратится в деспотизм диктатуры; уничтожьте естественный аристократический элемент в обществе, место его не останется пусто, оно будет занято или бюрократами, или демагогами, олигархами самого дурного свойства» [9, с. 37].

Парадоксально, что этот образ государственности, растворившейся в общественности, подаваемый без всякого сочувствия, один в один совпадает с образом Англии, рисуемым в одновременных катковских статьях, с предельной симпатией: «Именно в Англии не только нет никакого антагонизма между правительством и обществом, но нет почти никакого явственного раздела между ними, так что трудно указать, где начинаются действия правительства и где оканчиваются действия общества. Именно в Англии… видим мы полнейшую солидарность между правительством и обществом, начиная от самых важных государственных интересов до самых мелких ежедневных явлений. Не говоря уже о предметах общей и международной политики Англии, где все партии как бы составляют заговор и действуют сообща, нет такой полицейской обязанности, в которой англичанин видел бы исключительное дело правительственных агентов и не считал, напротив, своим долгом всячески способствовать ее отправлению» [12, с. 76].

Образ Англии, таким образом, и тут оказывается скрытым оппонентом руссоистски-шеллингианскому органицизму – оказывается, соотношение правительства и общества жестко не задано и вполне можно вырастить правительственную деятельность на общественной основе.

Начав с утверждения принципа историзма в политике, Катков заканчивает свое рассуждение в статье «К какой принадлежим мы партии?» настоящим руссоистским гимном государственному централизму, за который он всего пять лет перед тем обязательно бы исключил самого себя из журнала. Причем, напомним, речь идет о рассуждении 1862 года, задолго до «позднего» Каткова.

Руссоистская нетерпимость к любым промежуточным общественным силам и шеллингианская центростремительность господствуют в этом рассуждении безоговорочно. Централизации оказывается противоположна не свобода, как это было в возражении Чичерину, а совокупность локальных рабств: «вместо одного органического центра явится несколько фальшивых, несколько мелких деспотий, где еще ревнивее и придирчивее разовьется дух вмешательства и опеки и где для личной свободы будет еще менее благоприятных условий».

Смысл истории же состоит в постепенном сокрушении частных властей и частных сообществ и замене их единым сувереном, который, вот снова руссоистский мотив, не столько независим, сколько тотально и добровольно зависим от целого.

> «История, полагая общий центр народной жизни, собирает мало-помалу все элементы власти из всех закоулков, в которых она внедряется, дико

> разливаясь по всему простору народной жизни. Сосредоточивая власть в один общий для целой страны орган, образуя правильное государство, историческое развитие дает возможность человеку существовать по-человечески. По мере развития правильного и благоустроенного государства развивается и укрепляется в своих основах свободное общество, и государственное начало, преобразуясь, согласно своему истинному назначению, определяя все яснее свойственную ему функцию, становится источником великих благодеяний, крепкой основой свободы и соединяется с ней в общем интересе. Даже принцип неволи, убивавший человека или ставивший его в неестественное положение, не исчезает, не уничтожается. Исчезает только его противоестественное, грубое, дикое действие. Исчезает невольничество, – но в образованном обществе каждый человек жертвует частью своей воли. Исчезает рабство, которое убивает одного человека и уродует другого, но возникают взаимные обязательства, связывающие людей во всяком благоустроенном общежитии. Чем глубже и шире развивается общественная свобода, тем яснее и определеннее становятся обязанности людей друг перед другом и перед целым обществом, и тем охотнее люди подчиняются принципу неволи в высшем, благородном, священном значении долга» [9, с. 37].

Историзм Каткова оказывается при внимательном рассмотрении не консервативным в беркианском смысле. Беркианский консервативный взгляд на историю понимает ее как благословленное Богом самосозидание человека, – конкретный результат деяний выдающихся людей и накопление творческой энергии ради максимизации блага. Такая история выкристаллизовывается в конкретных жизненных мирах, конкретных сообществах, играющих, как отметил Нисбет, столь большую роль в консервативной мысли.

Катков же понимает историю в натурфилософском смысле раскрытия изначально заложенных органических начал, которые ведут в определенном направлении, а именно к формированию сверхсуверена, который решительной рукой стирает все локальные сообщества. «Везде главная сила исторического развития состояла в том, чтоб искоренять многовластие, в каком бы виде оно ни являлось, и величайшие жертвы приносились народами ради утверждения единой власти» [12, с. 78]. Историческая разнородность, разнокачественность оказываются для Каткова нетерпимы. Его государство предельно абстрактно и говорит даже не на русском, а по-гречески и латыни.

Как в доктринерском по складу уме Каткова сочетались эта жесткая руссоистская схема строительства тотальной государственности через подавление любых частных властей и локальных общностей, и англомания, предполагавшая, напротив, сохранение, развитие и встраивание в систему многочисленных «пережитков феодализма», – это во многом загадка.

Возможно, был прав Константин Леонтьев, полагавший, что Катков многого не договаривает. Возможно, вполне искренен был сам Михаил Никифорович, подчеркивая, что в Англии его восхищает не столько содержание «не поддающегося копированию» конституционного строя, для воспроизведения которого пришлось бы изменить столетия истории России, сколько сам исторический его характер. Однако последнее не объясняет примирения Каткова, когда он смотрит на Англию с якобы универсальным «злом», выражающимся в сохранении частных властей, которые не подавляются, а лишь встраиваются в государство, а тем самым схема перехода от многовластия к единой сверхмогущественной власти теряет свой универсальный характер.

Песнь про царя Ивана Васильевича и разночинца-опричника

Несомненно, однако, что воззрения Каткова носили не только обобщенно-философский, но и предопределенный конкретными жизненными обстоятельствами характер. Потомственный аристократ Пушкин, осознанно или нет, был «беркианцем». Для него история России была совокупностью деяний, в которых принимали участие его собственные знаменитые предки, о чем он написал серьезно в «Моей родословной» и несколько иронично в «Езерском». Пушкинское политическое сознание было на всю мыслимую глубину связано с «преданьями старины».

Родовое сознание славянофилов тоже опиралось на предшествующие «семейные хроники» Аксаковых, Самариных и Хомяковых. С этим собственным родовым сознанием они пытались соотнести русскую общину, сохранившийся опыт старой русской культуры. Для славянофилов исторический поворот русской жизни, совершенный Петром, был обрушением исторических результатов, разрушением того наследия, которое оставили их предки, а позитивную историческую деятельность они связывали с сохранением и восстановлением этого наследия.

Совсем иной взгляд «безродного» Каткова, первым в своем роду дослужившегося до потомственного дворянства, бывшего к сорока годам, как справедливо замечает Г.Н. Лебедева, «обычным интеллигентом-разночинцем» [93, с. 101]. Если присмотреться к создаваемому им образу «центростремительного» движения русской истории внимательно, то окажется, что оно состоит не столько в созидании, время созидания все никак не наступит, сколько в разрушении предшествующих обветшалых начал и властей. Его история России – это история становления политической тотальности, в которой издающий университетски-правительственную газету полуразночинец получает свой жизненный шанс.

Характерно в этом смысле его последовательное начиная с первой программной статьи почтение к Ивану Грозному. Вопреки карамзинистской традиции (и несмотря на постоянный пиетет Каткова к Карамзину, явно воспринимаемому как идейный предшественник), рассматривавшей этого царя как тирана и душегуба, Катков воспринимает его как великого государственника, железом и кровью выкорчевывавшего удельные элементы: «Нужно ли говорить о том, какое великое значение имеет в русской истории Иоанн Грозный; как необходима была в ней власть этого могучего истребителя всего, что еще оставалось от предшествовавшего периода, – этого царя-исполина, так мощно скрепившего железными руками только что сочленившийся организм и в лице бояр нещадно поражавшего отживших свое время удельных владельцев?» [1, с. 115].

В оценке Ивана IV Катков вполне солидаризуется со своим долголетним соратником по западническому направлению, ведущим историком «государственной школы» С.М. Соловьевым. Работы Соловьева играют в формировании исторических оценок Каткова, по всей видимости, решающую роль. Не случайно он восхищается в 1847 года письме А.Н. Попову: «Соловьев кончил свой экзамен и защищал в факультетском заседании свою диссертацию[1] с блистательным успехом. Не правда ли, какой чудесный труд его диссертация? Как все в ней зрело, обдуманно и живо! Прекрасно разработаны Москва, Иван В. Честь ему и слава!» [4, с. 547].

Отметим, однако, любопытный факт – трактовка Катковым в статье 1839 года политики Ивана IV как направленной прежде всего против удельных пережитков предшествует работам С.М. Соловьева и К.Д. Кавелина, переоценивших критический «карамзинский»

[1] «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома», в которой сформулирована ключевая для исторической концепции Соловьева теория перехода от родовых начал к государственным.

подход и представивших Грозного царя как великого централизатора, и противоречит доминировавшим в этот период историографическим оценкам Н.Г. Устрялова и М.П. Погодина, относившихся к Ивану отрицательно. Разумеется, Катков не был изобретателем этой точки зрения, например, М.М. Сперанский в «Плане государственного преобразования» подчеркивал, что «ослабление удельных князей и победы царя Ивана Васильевича, действуя соединенно с духом сего сильного государя, испровергли удельный образ правления и утвердили самодержавие» [цит. по: 77, с. 209].

Можно найти и немало других случаев, когда историософия молодого Каткова публицистически предваряла зрелую теорию Соловьева, внезапно начинающего рисовать русский исторический процесс теми же чертами, что и публицист: центробежность – сосредоточение – новое освобождение уже как элемента государства. «Эпоха сосредоточения необходима для утверждения сознания о государственном единстве, о единстве государственного интереса; здесь части, области, лица должны отказаться от своей особной, своеобразной жизни и подчиниться условиям жизни общей, и когда потом, при утверждении сознания о государственном единстве, части получают большую или меньшую самостоятельность, самоуправление, то эта самостоятельность является уже вследствие государственных требований, является с непосредственным отношением к сосредоточивающей власти», – писал он в седьмом томе своей «Истории» [57, с. 314–315].

Каткову вполне может быть переадресован тот упрек, который историк-славянофил М.О. Коялович адресовал Соловьеву: «Главнейшая ошибка Соловьева состоит в том, что в русском обществе, в русском народе он следит односторонне за разбросанностью, а в государственной среде – наоборот, только за объединительной деятельностью» [41, с. 393]. Получалось, что вся историческая жизнь народа направлена только к разброду и разбеганию (вспомним снова первую статью Каткова), в то время как центростремительное начало представлено только государством, а значит любая форма народной жизни и быта, любая «промежуточная» организация, любая коллективная автономия от тотального государства априори оказываются злом.

Эта крайность и сказалась во всей силе, отмечает Коялович, «когда выразителем этого направления явился Иоанн IV, возненавидевший всякую самобытность и истреблявший ее не только в отдельных лицах, в сословии бояр, но в целых массах народонаселения, как в Тверской области, Новгородской. Объединение, централизация, утвержденные такими способами, не могли уже быть зародышем будущей самобытности и могли порождать лишь дурные явления. Под влиянием такой централизации русский народ не терял своей общинности, сплоченности, а уходил с ними глубже в свой тесный круг жизни и отстранялся от соприкосновения их с такой централизованной государственностью. В этом-то ненормальном отношении земства и государственности, кажется, и скрывается основание крайнего мнения некоторых славянофилов о совершенной отдельности земства и государственности» [41, с. 393–394].

Как видим, и молодой Катков, и Соловьев, и Коялович одинаково воспринимают Ивана IV как символ тоталитарного «руссоистского» централизма, но по-разному его оценивают. Если для Каткова и Соловьева сверхцентрализация является дорогой к европеизации и, таким образом, свободе (иначе как без сверхцентрализации заставить народ сменить цивилизационную идентичность на европейскую?), то для славянофилов, выразителем мнения которых был Коялович, такая централизация – это триумф исторического нигилизма.

> «Идея разрушения действительно проходит через всю “Историю России” Соловьева. Мало того, проходит через эту “Историю” идея разрушения не только того, что само собой сложилось, так сказать, за глазами двигателей русской исторической жизни, но разрушения и того, что создано было и, по-

> видимому, хорошо создано самими двигателями этой жизни. Призванные князья разрушают племенной быт племен; суздальские князья, а за ним и московские разрушают удельно-вечевой быт; Петр разрушает строение московских князей, преемники Петра разрушают или переделывают строение петровское…» – все эти упреки Кояловича вполне можно применить и к историософским схемам Каткова [41, с. 369–370].

Концентрация исторического величия России осуществляется, на взгляд западнически-государственнической школы, за счет отрицания живого содержания и конкретных жизненных сообществ русской истории – общины, боярства, монашества, Церкви, в которой Катков более всего ценит то, что она отказалась от соперничества с государством и создания помех формированию политической тотальности. Когда-то в будущем должна вырасти грандиозная суперструктура, обеспечивающая развитие, величие, свободу и великолепное классическое образование, но прошлое России, по Каткову, состоит не столько в накоплении, сколько в освобождении от живого исторического содержания.

Мертвая теория и живой миф

Здесь мы возвращаемся к специфике катковской версии национализма, с которой начали. Этот национализм агрессивно антиэтничен, он не связан с конкретикой эмпирически данной русской культуры и конкретными свойствами русского этноса. Национальность оказывается формой существования в сообществе великих держав Европы, а стало быть нация – это человеческое наполнение международно признанных границ. История нации равна истории возникновения этих границ и заполнения пространства между ними. Русские, на взгляд Каткова, оказываются удивительно бедны содержанием, для них характерно «отсутствие всяких видимых проявлений общественной и нравственной энергии, кроме государственной службы, которую нес с тяжкими усилиями весь народ» [14, с. 158]. Пожалуй, именно к катковской версии национализма, больше чем к какой-либо еще применим популярный ярлык «служилая нация».

Составившая заслуженную славу Каткову полемика против сепаратизма ориентирована была на идею возвышения русского имени, но именно имени, а не этноса как живой культурно-исторической (не говоря уж о кровной) общности. «Русские» Каткова были весьма слабо связаны с эмпирическими русскими, в это понятие включались скорее те, кто не принадлежал к другим сообществам, имеющим выраженные сепаратистские притязания.

По сути, та Нация, к которой апеллировал Катков и которую характеризует Эрнст Геллнер, это классическое атомизированное общество типа Gesellschaft, как он описан в социологии Фердинанда Тенниса. Доктрина Каткова предполагала категорическое искоренение любых проявлений того, что можно было бы в той же терминологии описать как Gemeinschaft, как сообществ, базирующихся на конкретном жизненном соприкосновении и переживании. Реальное этническое сообщество было слишком «гемайншафтным», слишком крестьянским для анонимного «гезельшафтного» национализма.

Однако эволюция национализмов в XX веке была построена в итоге на синтезе принципов общины и общности. Общность начала восприниматься, «воображаться» как община. Взятое в своей абстракции национальное через систему символов начало восприниматься как конкретное и жизненно близкое. Геллнер, не без элемента тенденциозности и даже клеветы, связывает эту эволюцию европейских национализмов и нацизм, «которому удалось вновь ритуализовать политику» и который «привнес в анонимное индустриальное общество (Gesellschaft) мощную иллюзию общности (Gemeinschaft). Он соединил, и весьма эффективно, дисциплину индустриального общества с дисциплиной монархии, сплотив на эмоциональном уровне культурно-однородную группу» [65, с. 173].

Разумеется, превращение абстрактной общности граждан индустриального государства, именующейся нацией, в конкретное братство, через общность символов воображающее свое родство, осуществлялось не только и не столько нацизмом, но и любым режимом, опиравшимся хотя бы в минимальной степени на национальное чувство. В конечном счете в основу современных наций легла не теория и не газета, а национальный миф. И самое важное в историческом наследии Каткова тоже связано не с его теориями, а с этим мифом.

Абстрактная, формалистичная теория нации, чуждая всяких этнических основ, развиваемая «Московскими ведомостями», оказалась в итоге малопригодной. Ее влияние не сравнить с доктриной славянофилов, развитой Данилевским и Леонтьевым и ставшей в результате теоретической основой для тезиса о самобытной русской цивилизации, равночестной с Европой. Этноцентризм и цивилизационный плюрализм с акцентом на самобытность русской цивилизации, решительно отвергнутые Катковым во имя гражданского национализма и евроцентристского универсализма, стали во главу угла.

Зато совсем другая судьба ждала исторический образ самого Каткова. Фигура публициста отважно сражающегося за русскую национальную политику, отстаивающего патриотическое дело с открытым забралом и язвительным пером, не боящегося ни злобы польской справы, ни козней министров, «нового Минина» с большим русским сердцем под профессорским сюртуком была и остается важной составной частью национального самосознания русских в 1860-х годах. И не случайно, что серия патриотических манифестаций по случаю спасения императора от каракозовского покушения завершилась чествованием Каткова в его кабинете в Университетской типографии.

Катков сам стал живым символом нации. «Можно без преувеличения сказать, что в его личности вдруг ожила и заговорила старая Москва, Москва Калиты, Иоаннов, первых Романовых, и заговорив – покрыла своим голосом новую Россию в самый тяжкий и смутный период ее существования, когда она “разделишася на ся”», – подчеркивал Розанов, выступая за установление Каткову памятника [52, с. 605]. А Константин Леонтьев не без резонов полагал, что бьет в самую точку, предлагая поставить еще живому публицисту монумент на Страстном бульваре. Пожелание это, кстати, и по сей день не исполнено.

Вместо заключения. Политическое завещание Каткова

Однако неужели, спросит читатель, от первого из русских мыслителей, осознанно поднявших знамя национализма как политической доктрины, не осталось ничего, кроме яркого и противоречивого исторического мифа, набора публицистических образов и односторонней теории скроенного по руссоистским лекалам полутоталитарного западнического государства, подавляющего всякую самодеятельность и самобытность? Утверждать такое было бы поспешным.

Главной заслугой Каткова как национального теоретика было последовательное отрицание применительно к России принципа «государство в государстве», категорическое неприятие проектов расчленения русской государственной территории на в той или иной мере суверенные государственные образования. Для Каткова нет ничего более ненавистного, чем Status in statu, всевозможные уделы, королевства, княжества, ханства, созданные или проектируемые на единой русской государственной территории. И если он набрасывается с яростью на живые негосударственные сообщества, то лишь потому, что поспешно принимает их за «государства в государстве» или за их зародыш. Непрерывность и однокачественность суверенитета для него священна. Нация как носительница этого непрерывного суверенитета стоит для него превыше всего и выступает как источник всякой власти в государстве, в том числе и монаршей.

Самые яркие тексты Каткова в эпоху его публицистического «акмэ» между 1861 и 1865 годами посвящены именно защите цельности и однородности русского государства, резкой, не щадящей лиц и чинов критике проектов «многонациональности» России и установления в ней «множественного суверенитета», сохраняющей абсолютно актуальное политическое значение и по сей день, мало того, как будто написанной сегодня.

> «Борьба с сепаратизмом не была борьбою с ветряными мельницами. Это была борьба с великим злом, грозившим стране распадением и разложением. Сепаратистские стремления были формою того течения, в котором главная опасность для нашего отечества, – отмечал соратник Каткова Н.А. Любимов. – В государственной жизни нашей, в наших делах и внешней и внутренней политике замечаются два течения: одно к единству и крепости, другое – центробежное, к ослаблению, разложению, распадению; одно создающее, другое – расшатывающее. По роковому недоразумению, и чрез ошибки, и чрез обман центробежное, в существе своем изменническое течение, в глазах множества людей получило значение либерального, цивилизаторского, долженствующего привлекать образованные умы.
>
> Отсюда пагубное потворство и сочувствие тому, что направлено ко вреду и пагубе для страны. Этому течению безумно служили наш нигилизм и все наше революционное движение; ему помогал наш слепотствующий лжелиберализм в обществе, в чиновничестве, на кафедрах, в журналистике; ему могущественно содействовали, – в сферах власть имеющих, – наш космополитизм, наше непонимание и презрение русских интересов. Словом, оно захватывало все, в чем был вытравлен патриотизм, как мы выше выразились.
>
> После громадного переворота, совершившегося в государственной жизни через освобождение крестьян, все сделалось задачей в России. Сама Россия в глазах врагов, надеявшихся, что страна не выдержит такого потрясения, стала задачей. Все центробежное поднялось и готово было предъявить свои требования» [47, с. 458].

Особенно опасным был эпизод с распространением по российским учебным заведениям Министерством просвещения брошюры “Que fera-t-on de la Pologne?” «казенного пера» барона Фиркса, под псевдонимом Шедо-Ферроти публиковавшего свои тексты на французском языке и преимущественно для европейской аудитории с целью создать образ «России с человеческим лицом» (в том смысле, в каком эта «человечность» понималась в тогдашней Европе, то есть России, действующей против русских интересов). Шедо-Ферроти не только нападал на Каткова и ультрарусскую партию, но и пытался противопоставить русскому идеалу единого государства единой нации, защищавшемуся Катковым, идею многонациональной конфедерации под скипетром безнационального императора.

«Русский Император царствует не над страною, но над целою частью света, – утверждал Фиркс. – Он повелевает не нацией, а двадцатью различными народами. Его патриотизм в том, чтобы любить равною любовью тех, чья участь вверена ему небом. Всякий русской, кроме Императора, отправляясь в Финляндию, в Ливонию, в Польшу, на Кавказ, едет в иностранную землю. Император, прибывая в эти страны, находится у себя, в своем Отечестве, между детьми своими, сделать счастье которых он принял на себя пред Богом и совестью. Пусть патриотизм поляков состоит в том, чтобы любить только самих себя; русских, по крайней мере приверженцев г. Каткова, в том, чтобы ненавидеть инородцев, финляндцев проявляется желанием удалить русских от себя, патриотизм русского Императора, Короля Польского, Великого Герцога Финляндского может быть лишь в том, чтобы держать весы равновесия между всеми его подданными, думать о благе всех этих стран, из коих каждая есть его отечество…» [цит по: 47, с. 446–447].

Этой программе роспуска России Катков и противопоставил безусловную защиту единства страны и как национального, и как государственного.

> «Заставляя нас помышлять с ужасом о громадности нашей государственной области, нас приготовляют к покушению на самоубийство еще мыслию о страшной разноплеменности народонаселения русской державы. Перед нашей смущенной мыслью воздвигают целых двадцать народов, населяющих нашу государственную область. Нам говорят, что каждая из этих двадцати наций, насильственно связанных в одно государство, требует особого для себя государства, и что Россия непременно должна удовлетворить этому требованию. Россия есть не что иное, как химера; в действительности же существуют двадцать наций, которым эта химера, называемая Россией, препятствует жить и развиваться самостоятельно. Двадцать народов! Да это более, чем сколько можно насчитать полных народов в целой Европе! Каково это! А мы и не знали, что обладаем таким богатством: под обаянием химеры мы все думали, что под русской державой есть только одна нация, называемая русской, и что мало государств в Европе, где отношения господствующей народности ко всем обитающим в ее области инородческим элементам были бы так благоприятны во всех отношениях, как в русском государстве!» [16, с. 172].

Корни сепаратизма Катков видит в ошибочной имперской национальной политике, дискриминировавшей русских и предоставлявшей коллективные политические привилегии инородцам.

> «Что касается до России, то в новейший период ее истории она, вследствие известных исторических обстоятельств, не была вполне национальной в своей политике. Напротив, часто совершенно независимо от воли и сознания лиц, стоявших во главе русского государства, правительство ее уклонялось от своего народа в силу рокового сцепления некоторых обстоятельств, неизбежно последовавших за реформой Петра. Образовавшаяся у нас система заключалась в том, чтобы правительственными мерами разобщать и, так сказать, казировать разнородные элементы, вошедшие в состав русского государства, развивать каждый из них правительственными способами не только по племенам, но и по религии. Мы распространяем магометанство между Киргизами, которые не хотят быть магометанами, мы воссоздаем, укрепляем и возводим в силу остатки ламайства между бурятами, мы берем на себя обязанность блюсти дисциплину и чистоту всех сект и вероисповеданий. Известно также, что мы приобрели бессознательную склонность давать не только особое положение инородческим элементам, но и сообщать им преимущества над русской народностью и тем развивать в них не только стремление к отдельности, но и чувство гордости своею отдельностью; мы приобрели инстинктивную склонность унижать свою народность» [16, с. 174].

И это несмотря на то, что русские относятся к числу наиболее сплоченных наций в мире. «Нет другого примера, чтобы народность, объемлющая собой почти шестьдесят миллионов людей, представляла такое единство, как народность русская: так велика ее природная сила» [16, с. 174]. Строго говоря, и по сей день русские, несмотря даже на политическое и в значительной степени идеологическое отторжение малороссийских и белорусских частей остаются самой крупной единой национальной общностью, не несущей в себе признаков расового (как американцы или бразильцы), языкового (как ханьцы) или этнорелигиозного (бенгальцы или хиндустанцы) раскола, удивительным для такой численности и громадной территории совпадением нации и этноса.

Катков подчеркивает, что «сепаратизм в смысле отторжения какой-либо части гораздо менее страшен, нежели сепаратизм в смысле внутреннего расторжения», навязываемый многонациональными теориями в духе Шедо-Ферроти. «Начало разложения, внесенное внутрь государства, есть положительное зло, есть несомненная пагуба» [16, с. 179]. В попытке водворить в России искусственную многонациональность публицист усматривает целый заговор. «С неслыханною наглостью перебирают одну за другою разные части Русского государства, которые должны стать особым государством, чуждым русскому народу, на основании особой национальности, хотя бы для этой цели пришлось искусственно выделывать годные к тому национальности и даже употреблять части самого русского народа материалом для таких созиданий» [16, с. 181].

Попытки «федерализовать» или «конфедерализовать» Россию равны для Каткова попыткам разложить и расколоть ее. Многонациональная федерация, на его взгляд, вообще невозможна. «Федерация требует как необходимого условия, чтобы ее члены были, при всем разнообразии их местных особенностей и интересов детьми одной национальности» [16, с. 184].

Единство государства и единство нации неразрывны. Поддержание, тем более искусственное, разнонациональности и разнокультурности не может не закончиться государственным расторжением.

> «Нам говорят, что разделение России на чуждые одно другому государства должно тем не менее оставаться делом внутренним и не нарушать единства Русской державы… Совокупность чуждых друг другу государств и единство верховной власти, долженствующей простираться над ними и связывать их, есть абсурд, внутреннее противоречие, невозможность. Одно из двух: или верховная власть силой своего существования действительно соединит подвластные ей части и совокупность государств превратит в одно цельное государство, совокупность наций в одну цельную политическую нацию; или же верховная власть, взносясь над совокупностью народов и государств, утратит всякое действительное значение и упразднится как символ, ничего не означающий» [16, с. 185].

Никакого межнационального мира и подлинного союза в этом конфедерированном сообществе тоже ждать не приходится: «Не будут ли эти нации внутренне соединены между собой только общим чувством ненависти к тому, что держит их вместе?» [16, с. 186]. Мало того, подобная «многонациональность» своей естественной политической логикой потребует наступления новосозданных «национальных государств» на русскую нацию: «Не будут ли они весьма естественно и весьма основательно чувствовать опасение за свое существование и не должны ли они будут употреблять всевозможные с своей стороны усилия, чтоб ослаблять русскую национальность, а с тем вместе и Русское государство? Не будет ли интерес их состоять в том, чтобы политика русского правительства была сколь можно менее запечатлена национальным характером как внутри, так и вне?» [16, с. 190].

> «Нет ничего ошибочнее того мнения, будто политика, лишенная национального духа, ведет к сближению инородцев с господствующим народом. Она ведет к результатам, совершенно противоположным сближению. Она не закрепляет, а раскрепляет связь государственную. Привилегии, даваемые инородцам, предпочтения, им оказываемые, прямо противодействуют сближению их с русскими. На что нам нередко указывают как на условие всеобщего единодушия, согласия и мира, в том заключается лучшее средство возбудить антагонизм, произвести рознь, породить нескончаемые смуты. Напротив, национальная политика есть средство упрочить и единство, и спокойствие, и благосостояние государства. Национальная политика есть дело государств цивилизованных,

правительств разумных и просвещенных. Национальная политика состоит не в том, чтобы унижать чужое, а в том, чтобы возвышать свое» [19, с. 252–253].

Плодить искусственные малые нации, учреждать под них сепаратные государства значило бы не просто поддерживать культуру тех или иных народов, но создавать, выкармливать плотью русского государства новые «начальства, силы и власти».

«Нация не есть просто какой-либо этнографический элемент. Признать какой-либо элемент в качестве нации – это совсем не то, что предоставить тем или другим населениям, тем или другим людям свободу жить по своему обычаю, исповедывать свою веру и т.д. Это дело свободы, и чем бесспорнее единство государства, тем более выигрывает дело свободы. Именно в том интересе, чтобы государство могло безопасно расширять сферу личной и общественной свободы, которая всегда служит наилучшим выражением государственной прочности, именно в этом интересе свободы, о которой так много говорят всуе и так часто употребляют ее имя во зло, требуется, чтобы не было государств в государстве, требуется, чтобы государство было едино и нераздельно, чтоб оно было неразрывно соединено с одною бесспорною национальностью. Итак, признать какой-либо элемент в качестве особой нации не значит предоставить ему свободу, но дать ему власть, сообщить ему обязательную силу. В признании нации решается вопрос о власти, о правительстве, о государстве» [16, с. 191].

В том, что порождение сепаратной национальной государственности внутри страны не может не закончиться подавлением свободы и принуждением на «сепаратном уровне» мы убедились в последние десятилетия, когда обнаружили в собственной стране факты принуждения представителей национального большинства страны к принудительному изучению языков меньшинств, оснащенных этой сепаратной государственностью. Развитие событий пошло строго «по Каткову».

И вот уже в пособиях по подготовке к единому госэкзамену по обществознанию как нечто само собой разумеющееся предлагаются следующие задания, требующие правильно определить, чем республика отличается «от других субъектов РФ». Правильный ответ таков: «Является государством в составе РФ» [92, с. 379].

«Кому неизвестно первое правило политического благоразумия, требующее, чтобы в государстве не было государств? Кому неизвестно, что государство в государстве есть коренное зло, которое своим существованием делает невозможным правильное развитие общества?.. А между тем в России это зло, приняв особую личину, развивалось систематически в то самое время, когда в России же, более чем где-либо, принимались стеснительные меры против коренных общественных сил, без самостоятельной организации которых невозможно правильное развитие жизни, – принимались стеснительные меры из опасения, чтоб эти силы не превратились в организации, опасные для государства.

Всякая национальность есть не что иное, как зародыш государства; всякий элемент, признаваемый, в видах возвышения или унижения, за особую национальность, неминуемо действует как чужеядное тело в составе государства… Всякого рода национальная рознь, которая допускалась в одном цельном государстве, всегда отзывалась потом горькими последствиями…

Главное зло, которому удобным орудием служила наша бюрократия, был этот фальшивый принцип разных национальностей, наполнявший ее элементами, чуждыми национальности государства, которого она была органом. У нас появились внутренние иностранцы, у которых оказывалось разом два отечества, которые чувствовали себя гражданами разом двух государств. Могут ли

при таких условиях удовлетворительно идти дела и устанавливаться правильные воззрения на вещи в сферах мыслящих, влиятельных и действующих?.. Расширение пределов русской территории не считалось бы таким приращением могущества России, как ее вступление в свои права у себя дома. Действительно, как бы ни раздвигали другие государства свои пределы, Россия долго еще может восстановлять равновесие, не выходя из своих пределов, а только становясь в них сама собою… Только вступив в обладание собою, Россия, а с тем вместе и все внутренние ее интересы, могут быть обеспечены и развиваться правильно и плодотворно» [20, с. 264–267].

Таково актуальное ядро политического наследия Каткова, звучащее с пугающей злободневностью. Тем более пугающей, что до понимания этого наследия ни государство наше, ни наше общество в полной мере не доросли.

Литература

1. *Катков М.Н.* Песни русского народа, изданные И. Сахаровым. Пять частей. Санкт-Петербург, 1838–1839 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 1: Заслуга Пушкина. О литераторах и литературе. СПб.: Росток, 2010.
2. *Катков М.Н.* Очерки древнейшего периода греческой философии / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 4: Философские чтения: Статьи, трактаты, полемика. СПб.: Росток, 2011.
3. *Катков М.Н.* Замечание на рецензию «Очерков древнейшего периода греческой философии», помещенную в № 10 «Московитянина» / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 4: Философские чтения: Статьи, трактаты, полемика. СПб.: Росток, 2011.
4. *Катков М.Н.* Письмо А.Н. Попову 1 мая 1847 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 5: Энергия предприимчивости: Экономика. Образование. Письма. СПб.: Росток, 2012.
5. *Катков М.Н.* Отзыв иностранца о Пушкине / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 1: Заслуга Пушкина. О литераторах и литературе. СПб.: Росток, 2010.
6. *Катков М.Н.* О философской критике художественного произведения (Статья Ретшера). От переводчика / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 4: Философские чтения: Статьи, трактаты, полемика. СПб.: Росток, 2011.
7. *Катков М.Н.* Одного поля ягоды / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 1: Заслуга Пушкина. О литераторах и литературе. СПб.: Росток, 2010.
8. *Катков М.Н.* Кое-что о прогрессе / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.
9. *Катков М.Н.* К какой принадлежим мы партии? / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.
10. *Катков М.Н.* Польский вопрос // М.Н. Катков. Собр. соч.: в 6 т. Т. 3: Власть и террор. СПб.: Росток, 2011.
11. *Катков М.Н.* Русский вопрос / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 3: Власть и террор. СПб.: Росток, 2011.
12. *Катков М.Н.* Что нам делать с Польшей? / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 3: Власть и террор. СПб.: Росток, 2011.
13. *Катков М.Н.* Истинный и разумный патриотизм. Москва, 13 мая 1863 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.
14. *Катков М.Н.* Русский вопрос в Европе. Москва, 9 октября 1864 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.
15. *Катков М.Н.* Концентрация гимназии не может быть ни на каком предмете, кроме древних языков. Москва, 30 октября 1864 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 5: Энергия предприимчивости: Экономика. Образование. Письма. СПб.: Росток, 2012.
16. *Катков М.Н.* Цельность и однородность Русского государства. Москва, 9 ноября 1864 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.
17. *Катков М.Н.* «Национальная партия» в России. Москва, 16 июня 1865 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.
18. *Катков М.Н.* Историческое значение Москвы как символа основных начал, на которых зиждется государство. Москва, 19 августа 1865 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.
19. *Катков М.Н.* Влияние общего духа политики на образ действий отдельных лиц. Москва, 16 сентября 1865 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.
20. *Катков М.Н.* Корень всякого зла в России есть внутреннее раздвоение. Москва, 22 января 1866 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.

21. *Катков М.Н.* № 61. Москва, 19 марта / М.Н. Катков // Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1866 год. М., 1897.

22. *Катков М.Н.* Деятельность князя А.М. Горчакова. Москва, 17 июня 1867 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.

23. *Катков М.Н.* Наше варварство – в нашей иностранной интеллигенции. Москва, 27 апреля 1878 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.

24. *Катков М.Н.* «Русский народ» и «петербургская интеллигенция» (Ответ К.Д. Кавелину). Москва, 6 марта 1880 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.

25. *Катков М.Н.* На Руси не может быть иных партий, кроме той, которая заодно с русским народом. Москва, 12 марта 1881 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 3: Власть и террор. СПб.: Росток, 2011.

26. *Катков М.Н.* Свобода и власть. Москва, 7 мая 1881 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.

27. *Катков М.Н.* Земля и государство. Москва, 17 июля 1881 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.

28. *Катков М.Н.* Истинные задачи комиссии для пересмотра учреждений губернского и уездного правления. Самоуправление в Англии и России. Москва, 2 ноября 1881 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.

29. *Катков М.Н.* Наша конституция. Москва, 11 мая 1882 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.

30. К*атков М.Н.* Достоинство России требует ее полной независимости и отсутствия всяких союзов. Москва, 18 июля 1886 / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России. СПб.: Росток, 2011.

31. *Руссо Ж.-Ж.* Об общественном договоре: Трактаты. М.: КАНОН-пресс; Кучково поле, 1998.

32. *Берк, Эдмунд.* Размышления о революции во Франции. Лондон, 1992.

33. *Шеллинг Ф.В.Й.* Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1989. Т. 2.

34. *Шеллинг Ф.В.Й.* Идеи к философии природы как введение в изучение этой науки. СПб.: Наука, 1998.

35. *Шеллинг Ф.В.Й.* Система мировых эпох: Мюнхенские лекции 1827–1828. Томск: Водолей, 1999.

36. *Шеллинг Ф.В.Й.* Философия откровения. СПб.: Наука, 2000. Т. 1.

37. *Буслаев Ф.И.* Эпизоды из истории Московского Университета // Катков М.Н. Собр. соч.: в 6 т. Т. 6: Михаил Никифорович Катков: pro et contra. СПб.: Росток, 2012.

38. *Галахов А.Д.* Воспоминания о журнальном сотрудничестве М.Н. Каткова в 1839 и 1840 годах // Катков М.Н. Собр. соч.: в 6 т. Т. 6: Михаил Никифорович Катков: pro et contra. СПб.: Росток, 2012.

39. *Дельвиг А.И.* Мои воспоминания. М.: Изд-е Императорского Московского и Румянцевского музея; Т-во «Скоропечатни А.А. Левенсон», 1913. Т. 4.

40. *Иванов И.И.* История русской критики // Фридрих Шеллинг: Pro et Contra: Творчество Фридриха Шеллинга в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб.: Изд-во РХГИ, 2001.

41. *Коялович М.О.* Русское самосознание: По историческим памятникам и научным сочинениям. М.: Институт русской цивилизации, 2011.

42. *Ламздорф В.Н.* Дневник 1891–1892. М.; Л.: Academia, 1934.

43. Л*еонтьев К.Н.* Г. Катков и его враги на празднике Пушкина / К.Н. Леонтьев // Восток, Россия и славянство. М.: Республика, 1996.

44. *Леонтьев К.Н.* Записки отшельника. Судьба Бисмарка и недомолвки Каткова / К.Н. Леонтьев // Восток, Россия и славянство. М.: Республика, 1996.

45. *Леонтьев К.Н.* Владимир Соловьев против Данилевского / К.Н. Леонтьев // Восток, Россия и славянство. М.: Республика, 1996.

46. *Леонтьев К.Н.* Достоевский о русском дворянстве / К.Н. Леонтьев // Восток, Россия и славянство. М.: Республика, 1996.

47. *Любимов Н.А.* Михаил Никифорович Катков (По личным воспоминаниям) // Воспоминания о Михаиле Каткове. М.: Институт русской цивилизации, 2014.

48. [*Маркевич Б.М.*] Письма Б.М. Маркевича к гр. А.К. Толстому, П.К. Щебальскому и др. СПб., 1888.

49. *Мещерский Н.П.* Воспоминания о Каткове (Письма в Тверитино) // Воспоминания о Михаиле Каткове. М.: Институт русской цивилизации, 2014.

50. *Нисбет, Роберт.* Прогресс: история идеи. М.: ИРИСЭН, 2007.

51. *Павлов М.Г.* О полярно-атомистической теории химии // Фридрих Шеллинг: Pro et Contra: Творчество Фридриха Шеллинга в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб.: Изд-во РХГИ, 2001.

52. *Розанов В.В.* О постановке памятника Каткову / В.В. Розанов // Собр. соч.: в 30 т. Т. 28: Эстетическое понимание истории (1889–1897) – Сумерки просвещения. М.: Республика; СПб.: Росток, 2009.

53. *Розанов В.В.* Катков «как государственный человек» // Катков М.Н. Собр. соч.: в 6 т. Т. 6: Михаил Никифорович Катков: pro et contra. СПб.: Росток, 2012.

54. *Розанов В.В.* Опавшие листья / В.В. Розанов // Собр. соч.: в 30 т. Т. 30: Листва. М.: Республика; СПб.: Росток, 2010.

55. *Сементковский Р.И.* М.Н. Катков. Его жизнь и литературная деятельность. СПб., 1892.

56. *Соловьев В.С.* Несколько личных воспоминаний о Каткове // Катков М.Н. Собр. соч.: в 6 т. Т. 6: Михаил Никифорович Катков: pro et contra. СПб.: Росток, 2012.

57. *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен: в 15 т. Кн. 5. М.: Изд-во соц-эк. литературы, 1960.

58. Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. СПб., 1992.

59. *Тютчев Ф.И.* Полн. собр. соч. и писем: в 6 т. Т. 6. М.: Издат. центр «Классика», 2002.

60. *Феоктистов Е.М.* За кулисами политики и литературы. М.: Новости, 1991.

61. *Хомяков А.С.* Церковь одна / А.С. Хомяков // Сочинения: в 2 т. Т. 2: Работы по богословию. М., 1994.

62. *Чичерин Б.Н.* Старая французская монархия и революция / Б.Н. Чичерин // Очерки Англии и Франции. М.: Изд-е К. Солдатенкова и Н. Щепкина, 1858.

63. *Чичерин Б.Н.* Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Москва сороковых годов. М.: Изд-е М. и С. Сабашниковых, 1929.

64. *Гайнцева Э.Г.* И.С. Тургенев и «Молодая плеяда» писателей «Русского вестника» 1870 – начала 1880-х годов // И.С. Тургенев: Вопросы биографии и творчества. Л., 1990.

65. *Геллнер Э.* Пришествие национализма: Мифы нации и класса // Нации и национализм. М.: Праксис, 2002. С. 146–201.

66. *Иванов А.А.* Вызов национализма. Лозунг «Россия для русских» в дореволюционной общественной мысли. СПб.: Владимир Даль, 2016.

67. *Китаев В.А.* От фронды к охранительству: Из истории русской либеральной мысли 50–60-х годов XIX века. М., 1972.

68. *Коплстон Ф.* От Фихте до Ницше. М.: Республика, 2004.

69. *Котов А.Э.* Птенцы гнезда Каткова. СПб., 2013.

70. *Котов А.Э.* «Царский путь» Михаила Каткова: Идеология бюрократического национализма в политической публицистике 1860–1890-х годов. СПб.: Владимир Даль, 2016.

71. *Котов А.Э.* «Белый нигилизм» в русской консервативной публицистике второй половины XIX – начала XX века // Тетради по консерватизму. 2017. № 2.

72. *Лазарев В.В.* Шеллинг. М.: Мысль, 1976.

73. *Лубков А.В.* Михаил Катков: молодые годы: монография. М.: МПГУ, 2018.

74. *Маклюэн, Маршалл.* Понимание Медиа: Внешние расширения человека. М.; Жуковский: КАНОН-пресс Ц; Кучково поле, 2003.

75. П*опов Э.А., Велигонова И.В.* Когда Слово повелевает Империей. М.: РИСИ, 2014.

76. *Пустарнаков В.Ф.* Философия Шеллинга на весах религии, науки и политики // Фридрих Шеллинг: Pro et Contra. Творчество Фридриха Шеллинга в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб.: Изд-во РХГИ, 2001.

77. *Рубинштейн Н.Л.* Русская историография, М., 1941.

78. *Санькова С.М.* Государственный деятель без государственной должности: М.Н. Катков как идеолог государственного национализма: Историографический аспект. СПб., 2007.

79. *Санькова С.М.* Михаил Никифорович Катков. В поисках места (1818–1856). М., 2008.

80. *Смит Э.Д.* Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций и национализма. М., 2004.

81. *Твардовская В.А.* Идеология пореформенного самодержавия. М., 1978.

82. Тесля А.А. Первый русский национализм… и другие. М.: Европа, 2014.

83. Т*есля А.А.* «Истинно русские люди»: История русского национализма. М.: 2019.

84. *Холмогоров Е.С.* Добрый дикарь на ледяном ветру: Парадоксы консервативного руссоизма во французской и русской мысли // Тетради по консерватизму. 2017. № 1.

85. *Холмогоров Е.С.* Русификация русских. Граф Уваров и третий русский национализм // Тетради по консерватизму. 2018. № 1.

86. *Ермаков Артемий.* «Записки из мертвой школы» [Электронный ресурс] // Русская линия. 2001. 3 июля / Режим доступа: http://ruskline.ru/monitoring_smi/2001/07/03/zapiski_iz_mertvoj_shkoly

87. *Киселев Дмитрий.* Русофобия: история и современность [Электронный ресурс] // Вести. Ru. 2008. 31 августа / Режим доступа: https://www.vesti.ru/doc.html?id=205437

88. *Котов Александр.* «Публицист-идеолог в наши дни воспринимается как мелкая обслуга…» [Электронный ресурс] // Русская Idea. 2019. 29 марта / Режим доступа: https://politconservatism.ru/interview/publitsist-ideolog-v-nashi-dni-vosprinimaetsya-kak-melkaya-obsluga

89. *Любжин Алексей.* Современная школа РФ мертва [Электронный ресурс] // Русская Idea. 2018. 8 июля / Режим доступа: https://politconservatism.ru/interview/sovremennaya-shkola-rf-mertva

90. *Холмогоров Е.С.* Сотворение консерватизма: гордость и предубеждение Эдмунда Берка [Электронный ресурс] // Русская Idea. 2016. 11 августа / Режим доступа: http://politconservatism.ru/articles/sotvorenie-konservatizma-gordost-i-predubezhdenie-edmunda-byorka

91. *Гулыга А.В.* Шеллинг. М.: Молодая гвардия, 1984.

92. *Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В.* Обществознание: Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ. М.: АСТ, Астрель, 2016.

93. *Лебедева Г.Н.* М.Н. Катков о цивилизационной самостоятельности России // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2016. № 3.

Аннотация. В статье исследуется взаимосвязь философских и политических воззрений М.Н. Каткова, русского национального публициста и политика, носителя взглядов, характерных для политического национализма индустриальной эпохи, проводимых через соответствующий этой эпохе инструмент – газету. Автор приводит аргументы против устоявшихся в литературе суждений о Каткове как нетеоретичном и сиюминутном политическом публицисте, а также против представления о мнимом его «переходе от Гегеля к Шеллингу». Мировоззрение Каткова всегда базировалось на философии Шеллинга, а его публицистика была, по сути, переводом в политику идеи немецкого мыслителя о мире, как о противоборстве и смене центробежного и центростремительного движений. На основе этих идей у Каткова возникает оригинальная концепция русской истории и русской государственности как концентрации политической власти, уничтожения любых посредствующих властей, с целью последующего установления подлинной свободы индивида. В разработке этой концепции Катков, с годами, всё больше отходит от присущей ему как политику «англомании» и ориентации на исторический консерватизм бёркианского типа, создавая свою версию консервативного руссоизма. Политический тоталитаризм доктрин Руссо ставится Катковым на службу обоснованию самодержавных контрреформ, смысл которых он видит в абсолютизации могущества государства. В этом отношении Катков противостоит славянофилам, стремившимся опираться на общественные силы реальной русской истории и отвергавшим сверхцентрализм. При том, что в целом западнически-этатистские взгляды Каткова оказались достаточно односторонними и их влияние в позднейшей русской общественной мысли снижалось, автор полагает сохранившими значение до сего дня суждения публициста направленные против сепаратизма и «государства в государстве», а также сам «катковский миф», ставший важным элементом русского национального сознания.

Ключевые слова: Катков, Шеллинг, Руссо, Бёрк, центростремительность, центробежность, сепаратизм, государство, суверенитет, шеллингианство, национализм, Геллнер, философия, федерализм, славянофилы, русская история, публицистика, свобода, Маркевич.

Yegor Kholmogorov, Essayist. E-mail: holmogorow@yandex.ru

Nationalism of the Centripetal Movement. Political Metaphysics of Mikhail Katkov

Abstract. The article offers the study of the interconnection of political and philosophic views of M.N. Katkov, –Russian national publicist and politician whose views were characteristic of the political nationalism of the industrial epoch and were carried into effect using the relevant tool of the epoch – the journal. The author finds arguments against the established opinion of Katkov as a non-theoretical and short-run political publicist, as well as against the conception of his alleged “transfer form Hegel to Schelling”. Katkov’s views were always based on Schelling’s philosophy and his publicism was as a matter of fact the introduction into the politics the German philosopher’s views on the universe as the struggle and of centrifugal and centripetal movements. On the basis of these ideas Katkov offered an original concept of Russian history and Russian state system as political authority concentration, elimination of all mediate authorities with the goal of further introduction of real freedom if the individual. In developing this concept Katkov over the years drifted farther and farther from his inherent political “Anglomania” and historical conservatism of Burke’s type and created his own conservative version of Rousseau edifice. Katkov used political totalitarianism of Rousseau’s doctrines to substantiate autocratic counter-reforms, the meaning of which he saw in the absolutization of state power. In that aspect Katkov opposed Slavophiles who strived to rely on the public forces of real Russian history and rejected super-centralism. Though Katkov’s “western-statismic” views turned out to be rather one-sided and their influence on the Russian society ideas of the later period decreased, the author considers that Katkov’s ideas directed against separatism and “state within a state” concept are still important, as well as the very “myth of Katkov” that became an important element of Russian national consciousness.

Keywords: Katkov, Schelling, Rousseau, Burke, Centripetence, Centrifugal, Separatism, State, Sovereignty, Schelling’s Philosophy, Nationalism, Gellner, Philosophy, Federalism, Slavophiles, Russian History, Publicism, Freedom, Markevych.